

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

А.М. Руткевич

ПРОШЛОЕ ИСТОРИКА

Препринт WP6/2006/03

Серия WP6

Гуманитарные исследования ИГИТИ

Москва
ГУ ВШЭ
2006

УДК 930.1
ББК 63.3
Р 90

Р 90 **Руткевич А.М.** Прошлое историка. Препринт WP6/2006/03. — М.: ГУ ВШЭ, 2006. — 56 с.

Историк изучает прошлое, но это не является прерогативой историографии: все социальные науки имеют дело со своим собственным прошлым, истории рассказываются писателями, богословами, идеологами и т.п. Для определения специфического прошлого исторической науки необходимо понять особенности этой науки, а это вынуждает обратиться к эпистемологии. В данной статье конструктивистский взгляд на историческое знание противопоставляется тому, что получило сегодня распространение под именем «презентизма».

УДК 930.1
ББК 63.3

Rutkevich A.M. Historian's Past. Working Paper WP6/2006/03. — Moscow: State University — Higher School of Economics, 2006. — 56 p. (in Russian).

Historian investigates the past, but this is not a prerogative of historiography, all social sciences have to do with their own past, histories are written (narrated) by theologians, ideologists, writers and all of us. The definition of specific past of historical science presupposes one or another philosophical view of this science, some type of epistemology. In this essay a radically constructivist position is opposed to the doctrine of «presentism».

Препринты ГУ ВШЭ размещаются на сайте: <http://www.hse.ru/science/preprint>

© А.М. Руткевич, 2006
© Оформление. ГУ ВШЭ, 2006

Всем нам понятно слово «прошлое», хотя стоит задуматься о том, что представляет собой время, одним из измерений коего является прошлое, и мы повторяем за Августином: пока меня не спрашивают, знаю, стоит задуматься — почти ничего не знаю. Все мы отталкиваемся от нашего опыта и полагаем, что прошлого уже нет, а потому единственным местом, где оно сохранилось, является наше сознание; в то же самое время мы ведем бурные дискуссии о людях, которых от нас отделяют столетия, полагаем, что наша действительность содержит в себе прошлое, причинно им обусловлена. Мы исходим из собственного опыта, который называем воспоминанием, — мы способны припомнить сохраненное в памяти. Иногда мы расширительно толкуем это слово и говорим о «коллективной памяти», применяем его и к документам, и к монументам, и к файлам в собственном РС. Но все это — метафоры, поскольку память есть сознание прошлого, и мы не в состоянии дать определение памяти без явных или скрытых отсылок к сознанию, как непосредственному опыту мышления. Но само слово «сознание» в этом значении появляется сравнительно недавно — можно сказать, что оно изобретено Декартом и его современниками. Ранее оно означало моральную рефлексию по поводу совершенного ранее действия, совесть (со-знание, со-ведение, соп-science). Достаточно заглянуть в любую философскую энциклопедию, прочитать статьи «сознание», «самосознание», «Я», чтобы убедиться в сложности и проблематичности того, что кажется совершенно очевидным. Любая теория сознания указывает на его единство, т.е. на то, что в каждый данный момент времени согласуются компоненты внешнего и внутреннего опыта, прошлого и настоящего — без самосознания, без «Я» не было бы связной биографии. Прошлое связано с настоящим уже на уровне самосознания: строго говоря, уже интроспекция является ретроспекцией, поскольку мы не воспринимаем данные нашего сознания, но вспоминаем о том, что только что имело место, но уже не существует. Акт самосознания вмешивается в поле сознания, а тем самым изменяет его: любое познание есть познание прошлого (пусть самого недавнего). Мы фиксируем как настоящее то, что уже успело измениться. Сознание времени есть интуиция непрерывной связи между прошедшим, настоящим и будущим, причем о прошедшем и будущем мы можем говорить лишь потому, что

они суть содержания сознания (сохраненное сознанием или им пред-варяемое), а настоящее невозможно без этих двух измерений, будучи просто границей между ними¹.

Человеческое бытие исторично, оно зависит от истолкования собственного прошлого и прошлого всего человеческого рода. Действительное для человека всегда уже истолковано, наделено смыслом. Это относится и к его существованию, к его идентичности: без нашего прошлого с его смыслами нет и нас самих. Любая история существует только в сознании тех, кто помнит; говоря об *объективности* истории, нужно всякий раз учитывать то, что она может быть таковой только для того или иного субъекта, мыслящего или переживающего прошлое. Смена точки зрения означает изменение горизонта, перспективы, а тем самым меняется и картина прошлого. Научный взгляд на прошлое является одним из многих возможных подходов, причем далеко не самым насущным. Историческая наука вообще является довольно поздним плодом одной из культур. Но вместе с возникновением науки появляется и стремление «снять» это многоголосие, заменить плюрализм мнений знанием. Беспредпосылочного познания не существует, но там, где перспектива задана целью именно познания (не эстетического созерцания, не моральной оценки, не религиозной надежды и т.п.), произвол мнений исчезает — ученого интересует исключительно сам предмет (то, что Гегель назвал *die Sache selbst*), а не бесконечные игры воображения или поиски утраченной идентичности.

Очевидно, что любое познание опирается на закон тождества: по ходу рассуждения значения терминов не должны меняться, в опыте мы имеем дело с относительно стабильными вещами. Если они растягиваются и растекаются, то мы перестаем их фиксировать, не можем дать ни одного определения, а потому не в состоянии связно что-либо рассказывать. «Прошлое» для любого ученого означает тем самым ряд состояний, каждое из которых может рассматриваться в неподвижности и самотождественности. Субъективная концепция времени Августина, из которой проистекают как «длительность» Бергсона, так и «временность» Дильтея или Хайдеггера, передает наш опыт переживания потока становления, но понятийное мышление неизбежно раз-

¹ В мои задачи не входит разбор различных философских концепций времени. При-
менительно к *историческому* времени необходимо учитывать то, что историей обладает
только действующее, выходящее в будущее существо, познающее историю лишь потому,
что оно ее творит. Созерцание прошлого и антиципация будущего не существуют друг без
друга, они связаны с волением, с действием.

рывает эту целостность, представляет ее как ряд точек, каждая из которых может рассматриваться независимо от прочих. Непрерывность истории нами переживается, но мыслить мы можем только прерывными образами и понятиями. Без точек нет и линии, между любыми точками всегда есть зазор. Поэтому истории нет без фактов об этих «точках», но к фактам она не сводится — сами факты зависят от того, какие отрезки прошлого мы приняли за относительно неизменные «точки», как мы в своем воображении заполнили зазоры между ними.

Историк не занимается «изучением времени»: математик, физик и психолог говорят нечто о самом времени (не только о событиях во времени), историк принимает ту или иную версию времени, интересуясь «прошлым», т.е. состояниями и событиями, которых уже нет. Однако нельзя быть специалистом по «прошлому вообще» — мы всякий раз избираем какой-то изменявшийся во времени предмет. Все процессы суть переходы одних состояний в другие, идет ли речь о Метагалактике или протоне, биологическом виде или данном растении, цивилизации или ребенке. Но всякий раз диахрония предполагает синхронные срезы, состояния и существа, которые сменяются другими. Бергсон заметил бы, что пространственные образы в таком случае переносятся на длительность, но иного пути у науки просто не существует, поскольку в понятиях мы постигаем не непрерывность, но переходы от одних состояний к другим. Научное мышление имеет дело с измеримым и логически определимым, оно ограничено — на это издавна указывали не только мистики, провидцы и поэты, но и сами ученые, понимавшие, что есть те области, о которых им нечего сказать, а потому и не следует говорить.

Знание и повествование

Термин «историография» употребляется чаще всего как название дисциплины, изучающей развитие исторической науки (а иной раз и обзор литературы называется «историографией»). Однако изначально он не обозначает ничего иного, кроме «писания истории». В русском языке (и не только в русском) отсутствует то различие между «историей как таковой» и «писаной историей», которое имеется в немецком (*Geschichte, Historie*). Словом «история» мы пользуемся для обозначения трех различных множеств: 1) все прошлые явления, события, процессы в человеческом мире; 2) все наши знания об этих событиях;

3) все тексты (или речи) по этому поводу. Разумеется, как и в былые времена, многие «истории» мы рассказываем устно (хотя бы в виде чтения лекций); исторический фильм, будь он научно-популярным или художественным, также представляет собой некий «рассказ» о прошлом.

Эти три значения часто смешиваются: знания могут отождествляться с текстами, сами прошлые события — с нашими знаниями о них. Полное их отождествление уничтожает само историческое знание — прошлое таково, как о нем кто бы то ни было рассказывает. Если прошлые события = нашим сведениям = текстам (рассказам), то мы получаем разновидность солипсизма, опирающегося на тавтологию: «мои исторические представления суть мои исторические представления». Всем нам понятно, что знания бытуют в текстах и речах, а сама прошлая реальность известна нам через знания и тексты. В этом отношении историк ничем не отличается от всех прочих ученых, которые также пишут тексты для выражения своих знаний по поводу внешней реальности, не прибавляя при этом, что эта реальность представляет именно им, а не кому-нибудь еще.

Научное исследование возможно только при однозначном признании того, что познание прошлого возможно (физик или биолог также заняты прошлым). В отличие от всех прочих способов рассказа о прошлом, историческая наука притязает на истинное знание; нельзя одновременно сидеть на двух стульях, т.е. быть одновременно членом научного сообщества и тем, кто считает существование такового избыточным. Как метафизик, я вполне могу считать, что все сведения науки сомнительны, что Господь Бог создал мир мгновение назад, вложив нам память о нескольких тысячелетиях письменной истории или миллионе лет эволюции человека². Как ученый, я обязан принимать ту картину мира и человека, которую дают другие науки — у меня нет ничего лучшего. В эпоху специализации мы ожидаем от историка компетентности в довольно четко определенной области, которую мы отличаем от компетентности врача, инженера или адвоката. Какие бы речи о «кризисе истории» ни произносились сегодня, есть ряд условий такого рода компетентности, которые можно назвать требованиями научной рациональности применительно к историческим штудиям.

Эти требования не столь уж далеки от здравого смысла, которым руководствуется большинство историков. Они образуют научное со-

² Все науки имеют некоторые донаучные предпосылки, вроде веры в существование более или менее постоянных объектов или доверия к нашим воспоминаниям.

общество — говоря «историк», мы имеем в виду не просто любознательного индивида, а работающего по определенным правилам исследователя, обученного своими предшественниками. Когда мы слышим: «физика показывает» или «история учит», то речь идет о сообществах ученых, а не «голосе» самой природы или истории. По существу, познают не автономные индивиды, а сообщества, группы со все растущим разделением труда — мы являемся социальными существами. Через хуже или лучше владеющего своим ремеслом ученого познает корпорация, а через нее — общество в целом. Науки возникают не в любых обществах, есть примеры обществ, в которых ранее существовавшая наука вымирает. Фетишизация Науки (заменяющей Бога) столь же ложна, как и ее отвержение лишь на том основании, что наука не дает абсолютного знания. Мы не можем априори исключить того, что научное сообщество физиков или историков ошибается, а какой-нибудь полубезумный дилетант интуитивно постиг истину. Но именно этот критический взгляд на собственную деятельность свойствен ученым, тогда как любители провозглашать абсолютные истины ни в чем не сомневаются.

Любой претендующий на истинность рассказ (таковым может быть и рассказ об эволюции видов или о «черных дырах») предполагает наличие независимого от рассказчика предмета. И текст, и устное слово, и ряд иллюстраций выражают мысль о некотором предмете вне головы рассказчика. Даже если он передается воспоминаниями о собственной интеллектуальной биографии, он указывает на нечто иное, чем сами высказывания. Сами прошлые события, деяния индивидов и групп (*res gestae*), социальные институты и т.д. мыслятся как реальные, несмотря на то что из сферы бытия они уже перешли в небытие. Но это не мешает историку рассматривать умерших людей как реально существовавших: все науки имеют дело с давним или недавним прошлым, поскольку и свет звезд доходит до наблюдателя через тысячи лет, и даже фиксируемая экспериментатором ситуация успела стать прошлой, пока информация дошла до его сознания.

Пишущий статью об экономической или демографической ситуации ученый имеет дело с тем, что уже изменилось, пока он писал и публиковал статью. Поэтому историк, подобно всем остальным ученым, имеет полное право рассматривать ситуации прошлого так, словно они обладают наличным бытием. Машины времени не существует, и он не в состоянии вернуться в прошлое; верифицировать или фаль-

сифицировать свои высказывания историк может только косвенными данными, но и в этом отношении он мало чем отличается от прочих ученых — переход от «знания по знакомству» к «знанию по описанию», от evidence к inference осуществляется во всех науках. Отсутствие непосредственного контакта с людьми прошлого не является помехой для познания — у нас нет такого контакта с подавляющим большинством наших современников. Социальные науки неизбежно держатся заповеди: «По делам их познаете их», так как мы судим о людях по продуктам их деятельности (орудиям труда, произведениям наук и искусств, институтам, памятникам и т.п.). Если таковые сохранились, то мы способны судить о творцах, всякий раз учитывая то, что многое неизбежно утрачивается. Архаическая религия римлян или социальные институты этрусков нам известны хуже, чем верования и учреждения живших ранее древних египтян, «жизненный мир» неграмотных крестьян и ремесленников реконструируется по не всегда достоверным источникам, мы вряд ли в точности узнаем причины крушения цивилизации майя и т.п.

То, что история хуже или лучше «рассказывается», также ничуть ее не отличает от прочих наук — о биоценозах, галактиках или демографических процессах мы тоже рассказываем, поскольку иного способа поделиться нам известным с другими людьми не существует. Но я могу и не делиться полученными сведениями, исследовать для самого себя, заниматься историческими изысканиями исключительно для удовлетворения собственного любопытства. Точно так же может поступать любой ученый, который в силу внешних причин (скажем, цензурных препятствий) не может ожидать того, что открытое им будет при жизни опубликовано, но он продолжает исследование, несмотря на то что никто об этом не ведает. Если я никому не передаю полученные знания, то они не перестают таковыми оставаться. Иначе говоря, само исследование отличается и от трансляции знаний, и даже от коммуникации в рамках научного сообщества.

Теория есть «чистое», т.е. незаинтересованное созерцание, которое, конечно, выражается посредством слов (без них нет и мышления), но сведение знания к «нарративу» есть черта нашей болтливой эпохи (Г. Гессе назвал ее «фельетонной»). Конечно, пока мои знания не объективировались в виде статьи, книги, доклада на конференции, они не вошли в состав того, что мы называем «наукой», но исследование предшествует любому изложению и протекает оно чаще всего не в словесной форме у большинства естествоиспытателей, да и у многих гума-

нитариев³. Иначе мы не испытывали бы трудностей при словесном выражении того, что хорошо нам известно. Чтобы рассказывать, нам нужно знать.

Всякое корректное определение позволяет заменять определяемый термин тем выражением, посредством которого он определяется. Если мы во всех контекстах начнем замещать слово «история» словами «повествование» или «рассказ», то очевидной становится невозможность исторической науки. Это не смущает иных историков, причем иной раз не дилетантов, а настоящих ученых⁴. Аргументы «нарративистов» чаще всего банальны. Всем нам понятно, что история рассказывается, причем рассказывается современникам историка, а потому она излагается на сегодняшнем языке, отличающемся от языка древнего египтянина или китайца, включающем в себя понятия, которых не было в те времена. Ясно и то, что тематика задаваемых нами вопросов часто отражает ситуацию людей настоящего, а не духовные искания тех, кто мыслил и жил иначе. Более того, вопросы историка нередко отображают узость его подготовки, академической среды, в которой он осваивал профессию. Смены «ментальности» стали происходить быстрее, а потому историки старшего поколения сегодня ощущают, что молодежь задает прошлому другие вопросы. Можно было бы перечислить еще ряд схожих аргументов, но все они указывают на те «идолы рынка» и «идолы театра», которые были обозначены еще Ф. Бэконом. Собственное неумение решать такого рода проблемы (или научно мыслить вообще) проще всего обосновать в духе релятивизма. Но там, где ученые начинают повторять anything goes, наука завершает свое существование.

³ К. Гинзбург писал по этому поводу: «Речь идет о формах знания, в логическом пределе тяготеющих к *немоте*, — в том смысле, что их правила... не поддаются формализации и даже словесному изложению. Невозможно выучиться профессии знатока или диагноста, ограничиваясь практическим применением заранее данных правил. В познании такого рода решающую роль приобретают (как принято говорить) неуловимые элементы: чутье, острый глаз, интуиция» (Гинзбург К. Мифы — эмблемы — приметы. Морфология и история. М., 2003. С. 226). Стоит обратить внимание на эту «немоту» — такого рода познание не есть «нарратив», любые «рассказы» суть следствия, изложение того, что было получено не путем пересказа прочитанных документов. К грамматической герменевтике всегда прибавляется психологическая (дивинация).

⁴ Доходящих до отрицания и прочих наук: «Науки не серьезнее словесности, и, коль скоро в истории факты неотделимы от их интерпретации, а интерпретации могут быть какими угодно, так должно быть и в точных науках» (Вен П. Греки и мифология. М., 2003. С. 147).

Подобно тому, как нельзя быть «немножко беременной», нельзя быть «чуть-чуть историком», и в свободное от работы в архивах время считать историографию литературным вымыслом. Авторы умозрений и прозрений, исторических романов, «фэнтэзи», «альтернативных историй», идеологических трактатов и т.п. просто не принадлежат к тому же сообществу, что историки. Их деятельность иногда бывает полезной для популяризации исторического знания или постановки проблем, которыми занимаются сами историки; иной раз они знают предмет ничуть не хуже ученых мужей. Плоды творчества этих авторов куда лучше известны публике (и значительно лучше оплачиваются), но для историка кардинал Ришелье предстает в ином виде, чем в «Трех мушкетерах», цари и диктаторы мало чем напоминают персонажей «театра одного актера» Э. Радзинского — вымысел даже самого научно «подкованного» писателя (достаточно вспомнить «Войну и мир» Толстого, романы Алданова и т.п.) оценивается нами по иным критериям, чем диссертация или монография. Так как труды ученой братии всегда серьезны и почти всегда скучны, уместна ироническая усмешка, но сама эта ирония всегда вторична — если нет работающего по жестким правилам научного сообщества, то исчезнет и позиция скептического пересмешника. В условиях господства какой-нибудь официальной догмы эта позиция бывает плодотворной, когда такой официоз отсутствует, его приходится изобретать: слова «фундаментализм», «позитивизм» в устах сегодняшних профессиональных историков выдают то, что сколь угодно критичная наука вызывает у них неприязнь уже самим своим существованием, но и обойтись без нее они не могут.

Термин «историография» относится ко второму и третьему значениям слова «история» — не к самой реальности, а к нашим знаниям о ней и к нашим текстам. Как уже видно из сказанного выше, автор этих строк не принадлежит к поклонникам «лингвистического поворота». Пока речь идет о познании, историк мало чем отличается от прочих ученых: выдвигается гипотеза, которую нужно подкрепить эмпирическими наблюдениями, сформулировать ее таким образом, чтобы любой другой мог ее проверить, сопоставив с фактами (если все они в результате всех попыток фальсификации придут к тождественному результату, то эта гипотеза «обоснована», «оправдана» — justified — хотя еще не стала общепризнанной). Особенностью истории является то, что наблюдать события прошлого мы не в состоянии, нет возможности провести эксперимент; эмпирический базис составляют оставленные людьми прошлого следы, «улики», свидетельства. Скажем, если

историк пытается установить, какие этносы участвовали в походах «народов моря» на Египет, то он привлекает египетские и хеттские документы, данные топонимики и т.п., но не может экспериментально что бы то ни было подтвердить, а потому сравнительно немногочисленные данные вновь и вновь служат поводом для новых гипотез, опирающихся на критику источников. Когда данные явно опровергают гипотезу, историки — и в этом они тоже не отличаются от представителей иных наук — от нее отказываются. Гипотезы выдвигаются тогда, когда мы уже перешли от неведения даже о собственном незнании к знанию о незнании (т.е. проблемной ситуации) и стремимся к знанию о знании (когда субъект располагает некоторыми знаниями и в то же самое время оценивает его как истинное, вероятное, приблизительное и т.п.).

Если мы (вслед за Расселом) разграничим материальные структуры и структуры событий⁵, то историк изучает прошлые события, отталкиваясь от оставленных ими материальных следов. Его интересуют почти исключительно события человеческого мира — природные события интересны для него лишь в том случае, если они воздействовали на людей. Писание истории, по определению, есть *описание* человеческих действий, отношений, а они всегда наделены смыслами. Особенностью не только истории, но и всех социальных наук является то, что мы осмысленно рассказываем об осмысленной другими реальностью. Не вдаваясь в дискуссию по поводу (возможных) различий между описанием и повествованием, можно сказать, что любое повествование есть разновидность описания. Рассказ о прошлом описывает в данном случае не природные события, но поступки людей, а потому включает в себя гипотетические суждения относительно мотивов и страстей. Мы предполагаем, что действия данного лица были обусловлены определенными знаниями, религиозными или моральными убеждениями, эстетическими вкусами, что та или иная группа придерживалась тех или иных религиозных воззрений и т.д.

Уже поэтому от историка требуются иные навыки, чем от того, кто рассказывает о прошлом галактик или биологических видов. И. Берлин имел основания для того, чтобы считать талант историка и талант естествоиспытателя существенно различными.

⁵ «Дом имеет материальную структуру, а исполнение музыки — структуру событий. ...напечатанная книга имеет материальную структуру, тогда как эта же самая книга при чтении вслух имеет структуру событий» (Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. Киев, 2001. С. 496).

«Умение понимать характер людей, знание того, как они обычно реагируют друг на друга, способность “проникать” в их мотивы, принципы, ход мыслей и чувств (а это в не меньшей степени применимо и к поведению масс, и к развитию культур) — это таланты, необходимые историкам, они не нужны ученым-естественникам (или нужны им не в такой степени). Способность познания, чем-то похожая на способность познания чужого характера или способность узнавать лицо, столь же важна для историков, как знание фактов»⁶.

Историка интересуют люди, а не артефакты, не творения как таковые — от них и через них он идет к творцам.

Факты и фикции

Как и любой другой язык, язык истории: а) описывает *нечто* и можно исследовать то, *что* он описывает; б) он делает это различными способами, и можно исследовать, *как* он это делает. Способ описания лишь в редких случаях задает предмет, чаще нам приходится подбирать тот язык, который наилучшим образом соответствует предмету. Язык эпической поэзии вряд ли подходит для описания социальной стратификации (хотя мы можем судить о социальном расслоении полиса по стихам Феогнида), язык математики пригоден для описания экономических и демографических процессов, но совершенно не годится, скажем, при описании ментальности авторов «Молота ведьм» (равно как и психологии самих ведьм и колдунов). Синтаксис, семантика и прагматика всегда находятся в корреляции, современное увлечение прагматикой связано с тем, что историками сегодня называют себя и многие несостоявшиеся литераторы. Критика позитивистской истории (Р. Коллингвуд, Л. Февр и другие критики истории «ножниц и клея») была полезной в эпоху, когда историк еще прочно ассоциировал себя с архивис-

⁶ Берлин И. Понятие научной истории // Берлин И. Подлинная цель познания. М., 2002. С. 68. П. Рикёр добавил к этим навыкам «умение переноситься в другую страну, в иное, как бы гипотетическое, настоящее; эпоха, изучаемая историком, принимается им за настоящее, к которому он апеллирует, за центр временных перспектив: у этого настоящего есть свое будущее, состоящее из ожиданий, неведения, предвидений, опасений людей, а не из того, что, как мы, другие, считаем, наступило; у этого настоящего есть также свое прошлое, являющееся памятью людей о том, что когда-то было, а не тем, что мы знаем о его прошлом» (Рикёр П. История и истина. СПб., 2002. С. 43).

том, с тем, кто копит атомарные факты и строит из них (по индукции) некие обобщения.

Узость подобной позиции сегодня всем понятна. Но сбор и классификация данных, индуктивный вывод — это принципы любой эмпирической науки, опирающейся на *hard data* (или даже *dry facts*). Историк идет по следам, оставленным событиями, именно они имеют статус фактов. Рассказ историка о прошлом притязает на истинность — без фактического базиса такой рассказ невозможен (да и не нужен). Однако все факты собраны и организованы субъектами, они принудительны лишь для тех, кто занят научным исследованием прошлого.

«Не существует фактичности “в себе” как абсолютной, вечной и неизменной данности; то, что мы называем фактом, уже каким-то образом теоретически ориентированно, должно... имплицитно определяться некой понятийной системой»⁷.

Фактами в науке называют не сами предметы, а установленные истины по поводу предметов, или, если выразить это иначе, факт есть результат взаимодействия моего сознания и действительности (внешнего или внутреннего мира). Когда мы говорим, что вращение Земли вокруг Солнца есть «факт», то тем самым подразумевается вся совокупность наших знаний со времен Коперника (Аристарха, Филолая); когда упоминаем в качестве факта завоевание Древнего Египта персами, то имеется в виду весь массив данных, способных подтвердить наше высказывание. Иначе говоря, факты науки суть высказывания, которые нашли (и пока что находят) подтверждение. Слова Витгенштейна о том, что мир состоит не из вещей, а из фактов, верны применительно к той «природе» и к той «истории», которые существуют в нашем уме.

Вещи сами по себе иной раз именуется нами «упрямыми фактами», поскольку никакие наши усилия не отменяют гравитации или состава воздуха, места в пространственно-временном континууме и т.п. Однако не сами эти состояния и процессы, а их констатации, утверждения и отрицания представляют собой факты. Вещи и отношения между ними воздействуют на нас, входят в поле нашего сознания — факты всегда суть факты сознания. Уже поэтому нет ни малейшего смысла в словесных баталиях по поводу «фактов» и «фикций»: фактами мы именуем

⁷ Кассирер Э. Философия символических форм. М.; СПб., 2002. Т. 3. С. 323. «Нагруженность» фактов теорией не является неким изобретением философии науки конца XX столетия. Гёте принадлежат слова: «все фактическое уже есть теория», а полемика рационалистов с сенсуалистами (скажем, Лейбница с Локком) уже содержала всю ту критику эмпиризма, которую просто возобновил Поппер.

те фикции, которые постоянно возобновляются независимо от нашего желания, воспроизводятся, подтверждаются. Здесь нет принципиальной разницы между физиком, социологом или историком, поскольку оставленные прошлым следы ничуть не менее «упрямы», чем невидимые нами социальные институты или частицы. Наука начинается не с фактов, а с проблем, с выдвигения гипотез, имеющих характер «фикций» — «фактами» они становятся в силу подтверждаемости. Стремлением не считаются с фактами, подменять их вымышленными сущностями историка наделены ничуть не больше всех прочих.

Способность устанавливать «как это действительно было» восходит к способности отличать истину от лжи, вымысел от действительности. Подобно тому, как следователь знакомится с уликами и опрашивает свидетелей, устанавливает мотивы преступления и личность преступника, так и историк имеет дело с данными опыта. То, что оба они могут ошибаться, что их выводы могут оспорить (адвокат в суде или оппонент на защите), доказывает лишь то, что наши знания несовершенны и со временем могут стать лучше. Таковы все эмпирические науки. Пока есть возможность критической дискуссии, мы сопоставляем факты с теориями, теории с теориями. В статье «Миф концептуального каркаса» К. Поппер верно заметил, что сторонники релятивизма сначала выдвигают нереалистически завышенные требования к научному познанию, а затем, коли до таких завышенных норм не дотянуться, заявляют, что познание в принципе невозможно. Окончательное и абсолютное знание о прошлых событиях недостижимо, но такова ситуация всех наук. При наличии двух (или более) конкурирующих теорий осмысленно выбирать более правдоподобную, т.е. лучше увязывающую и объясняющую факты.

Однако следует иметь в виду то, что под «фактами» в истории (и в большинстве наук о человеке) подразумевается нечто иное, чем в естествознании. Уже сами используемые нами понятия — орудия производства, инструменты, оружие, деньги, украшения и т.п. — отсылают нас не к физическим свойствам предметов, но к представлениям и ценностям людей. Предмет служит для реализации тех целей, которые ставит перед собой человек, полагающий, что именно этот предмет выступает как средство. Как это выразил Ф. фон Хайек:

«Короче говоря, в общественных науках вещи — это то, чем считают их люди. Деньги — это деньги, слово — это слово, косметическое средство — это косметическое средство постольку, поскольку кто-то так думает»⁸.

⁸ Хайек Ф.А., фон. Индивидуализм и экономический порядок. М., 2000. С. 74.

Все те знания, которые имеются у нас о предметах, но которыми не располагают (не располагали) наблюдаемые нами лица, не помогут нам в понимании мотивов этих лиц. Нам необходимо переходить от наших собственных мнений к мнениям других, чтобы понять их действия. Попытки устранить интенциональность сознания, редуцировать смыслы к наблюдаемому поведению, целиком заменить «понимание» на «объяснение» и т.п. стратегии сторонников «единой науки» наименее плодотворны именно в истории. Вряд ли есть нужда обсуждать этот вопрос, приводить цитаты из В. Дильтея или Р. Коллингвуда (скажем, о «внешней» и «внутренней» сторонах исторического события). Объяснения в истории всегда предполагают интенциональное понимание и служат ему; более того, сами объяснения в истории часто имеют телеологический характер. Люди часто делают нечто потому, что их принуждают к этому обстоятельства или действия других людей, ожидаемые награды или наказания, но и такого рода внешние воздействия всякий раз направлены на людей с определенными представлениями и целями.

То, что представляется принудительным одному, не является таковым для другого, на один и тот же стимул мы можем получить совершенно различные реакции. Очевидно, что прикованный к стене человек не может бежать без помощи извне, а на альтернативу «кошелек или жизнь» люди чаще всего реагируют рационально, т.е. отдают кошелек; но уже в последнем случае преступник может столкнуться с яростным сопротивлением или с потенциальным самоубийцей, который желает того, чтобы его убили⁹. Рассказ историка может не включать в себя все это многообразие смыслов и страстей, но даже экономическая история не обходится без понимания мотивов действующих лиц. Поскольку речь идет о неповторимых индивидах и группах, то можно отчасти согласиться с теми, кто видит в этой неповторимости отличие истории от естествознания. Кажется, Т. Карлейлю принадлежит сравнение историка и физика: для первого обнаружение того, что Иоанн Безземельный проезжал через какой-то городок средневековой

⁹ Детальное обсуждение вопроса о нормативном принуждении, равно как ряда других проблем, можно найти в превосходной работе Г. Х. фон Вригта «Объяснение и понимание» (см.: Вригт Г.Х., фон. Логико-философские исследования. Избранные труды. М., 1986). Я не разбираю здесь отношения между историей и социальными науками. Хотя уже античные историки были и этнографами (Геродот или писавший о германских племенах Тацит), и политологами (начиная с Фукидида), и даже социологами, за последние полтора века эти дисциплины развивались под несомненным воздействием естествознания.

Англии, является фактом, который не могут поколебать никакие теории; для физика подобный факт просто не интересен — вновь он здесь не проедет, а неповторимое не подводится под закон, не выражается посредством математической формулы.

В известном смысле факты иррациональны — в существовании именно такого пейзажа, камня, стола, индивида нет изначального смысла (если не вступать в область теологии). Фома Аквинский и Сервантес, йомены и сервы, античные полисы и средневековые города просто были, они не служили какой бы то ни было логике всемирной истории, не ставили перед собой такую цель, как приуготовление сегодняшнего общества. Известна формула Л. фон Ранке, согласно которой каждая эпоха непосредственно соотносится с Богом и ценность ее заключается не в том, что из нее произойдет, но в самом ее существовании, в ее собственной самости. Разумеется, историка интересует и то, что переходит из одной эпохи в другую, как развиваются институты, нравы, идеи. Однако и при рассмотрении развития он, во-первых, соотносит одно прошлое с другим, а не только прошлое с настоящим; во-вторых, он не ставит перед собой задачи изменить в лучшую сторону настоящее, описывая прошлое — по крайней мере, пока он занят научными изысканиями.

Разрыв между порядком речи и куда менее упорядоченной реальностью прошлого отмечали многие историки. Даже когда мы рассказываем о собственном прошлом, то ощущаем, что мир аффектов, движений, действий значительно менее рационален, чем наш рассказ. Мы ценим поэтов и композиторов за умение выражать страсти души, прекрасно понимая при этом, что наши истолкования музыки чаще всего неудовлетворительны. Даже вполне рациональная последовательность операций инженера, биржевого маклера, водопроводчика что-то утрачивает в рассказе о совершенных ими действиях. Тем более это относится к коллективным действиям — историки чаще всего поминают какие-нибудь сражения, рассказ о которых «логицизирует» довольно хаотичную реальность. Мир взаимодействий лишь в малой степени направляется *ratio* участников. В отличие от наглядно данного нам многообразия нынешней действительности, историк сталкивается с сохранившимися обрывками прошлого, которые он увязывает рассуждениями. Сочинение связных дискурсов из разнородных следов, оставленных предками, есть ремесло историка; при этом он притязает на то, что это «действительно было», когда уже некому это подтвердить или опровергнуть.

Одной из особенностей историографии — в сравнении с номологическими дисциплинами — остается то, что она пользуется естественным языком. Экспериментальный контроль над данными опыта здесь невозможен, применение количественных методов ограничено, а потому даже включаемые в тексты термины номологических наук являются преимущественно словами повседневного языка. Такие термины, как «формация» или «цивилизация», «класс» или «масса», «деревня» или «город» не обладают строгостью естественно-научных терминов — каждый историк волен трактовать их на собственный лад.

В этом отношении историк мало чем отличается от социолога, поскольку говорит об «античном полисе», «средневековом городе», сопоставляя их с нынешними мегаполисами. В общую теорию города могут входить даже город эльфов Гондолин из «Сильмариллиона» Толкиена, город небесных музыкантов Гандхарвов и т.п. вымышленные объекты, но изучает социолог прежде всего конкретные сообщества современности. Различие между социологией и историей связано не с тем, что первая относится к «номологическим», а вторая — к «идиографическим» дисциплинам. Социолог может изучать индивидуальные образования («деревня Гадюкино», «город Москва»), а историк — писать работу, скажем, о социальной структуре древнерусских городов XII столетия. Даже в естествознании мы часто сталкиваемся с единичными объектами, изучаемыми в их особенности («озеро Байкал», «планета Марс»). Неповторимыми объектами историка являются не потому, что в них не было общего, но потому, что они навсегда ушли в прошлое (если только мы не принимаем доктрину «вечного возвращения»). Его интересуют жившие некогда люди, которых уже нет и никогда не будет.

Использование естественного языка, обращение к мотивам и страстям людей роднят историка с писателем. Историк может быть замечательным стилистом, иные историки были и крупными писателями — достаточно вспомнить Карамзина или Пушкина, написавшего не только «Капитанскую дочку», но и историю пугачевщины. Читать Л. Февра или Ж. Ле Гоффа не только полезно, но и приятно. То, что ученые иной раз пишут лучше писателей, еще никак не характеризует их как ученых. Ж. Дюби в одном интервью заметил, что «Печальные тропики» Леви-Строса и «Слова и вещи» Фуко по литературным достоинствам несомненно превосходят романы Сартра, но из этого не следует, что этнографы или эпистемологи должны судить об этих произведениях исключительно с эстетической точки зрения. Историк не свободен в выборе литературных средств, поскольку он должен донести до читателя дух и букву тех документов, которые он отыскал в архивах, со-

общить о действиях людей, которые совсем не обязательно оцениваются эстетически (или даже вызывают отвращение у читателя). Если литературный текст, по определению, представляет собой вымысел, то текст историка оценивается прежде всего с точки зрения истинности. Вероятно, и сегодня мог бы найтись поэт, который, наподобие Лукреция Кара, изложил бы физику и метеорологию в замечательных стихах, но это не помешало бы его коллегам подвергнуть критике те или иные гипотезы. Текст историка есть совокупность высказываний не о собственных переживаниях по поводу источников, но о том, что стоит за ними, что дошло до нас через них.

Если воспользоваться метафорой, введенной представителями «общей семантики», следует различать «карту» и «территорию». Мы временны и историчны сами, нам нужно ориентироваться в происходящем, подобно тому, как нам нужно ориентироваться в незнакомом нам городе. Карты создаются на территории и расположены на ней — карты истории также принадлежат истории, они рвутся, горят, устаревают и заменяются новыми. Знаки на карте условны и мало чем похожи на объекты самой территории. Путаница возникает, когда одно принимают за другое. Скажем, церковь жива преданием, и церковный историк, будучи верующим человеком, считает историческим фактом то, что вызывает сомнения у неверующих или принадлежащих иной конфессии коллег. Больше всего такая путаница характерна для сегодняшних адептов «исторической памяти»: основанием для любой писаной истории является память людей о событиях, но эта память — не карта, она относится к территории и является предметом исследования историка. По картам, предлагаемым «постмодернистами», вообще невозможно ориентироваться, поскольку они не указывают на какую бы то ни было территорию. Одни из них заполнены изображениями фантастических существ, другие содержат массу сведений о том, как менять одни значки на другие, третьи просто пусты¹⁰. Да и можно ли доверять тем, кто готов уравнивать усилия научного цеха и любых дилетантов, лишь бы у них было развито воображение?

У нас имеются образы прошлого, но мысли и слова ничуть не похожи на события или процессы прошлого — мысленный образ вообще

¹⁰ У Льюиса Кэрролла можно найти своего рода антиципацию нынешних эпистемологических изысканий: «Острова и слова ты отыщешь едва \\ На картах исписанных густо, \\ Но «Ура!» капитану матросы кричат, \\ Потому что нашел он не карту, а клад — \\ В ней совсем, совершенно пусто».

не следует путать с чувственным, знак — с им обозначаемым. Правила соединения понятий (синтаксис) не являются законами самого мира, а наши суждения и умозаключения сходны только с суждениями и умозаключениями других людей. Историк философии или математики может считать своей задачей адекватное воспроизведение акта мышления своего предшественника; в известном смысле, любое понимание означает воспроизведение интенциональных актов людей прошлого — гоплита из войска Митридата или средневекового купца, викинга или брахмана мы тоже должны понять во всем их отличии от нас. Но выражается нами постигнутое только посредством высказываний. Экспонаты в музеях, древние рисунки и прочие иллюстрации сами нуждаются в интерпретации. Чувственные образы вообще не входят в систему знания. Мы видим звезды как блестящие точки, а то, что они удалены от нас на сотни световых лет, знаем из учебника астрономии, в котором нет никаких образов (кроме требующих истолкования фотографий с теми же блестящими точками на черном фоне).

Любые «факты» представляют собой синтез чувственного опыта, схем воображения, категорий рассудка; на языке современной философии науки это выражается словами о «нагруженности» фактов теорией. Споры между теми историками, которые желали бы держаться «фактов и только фактов», и теми, кто подчеркивает роль воображения и полагает, что никаких независимых от субъекта данных не существует, чаще всего просто бессмысленны. Не только история, но и все науки развиваются и постоянно переосмысливают данные опыта¹¹, но из этого совсем не следует то, что мы вольны подгонять эти данные под любую схему. Большинство историков держится той версии эмпиризма (или позитивизма), которая устарела уже в XIX столетии, тогда как их оппоненты прочитали пару модных книжек, в которых к перспективизму Ницше и Зиммеля, к тезисам Коллингвуда просто добавлен ряд терминов из трудов Куна и Фейерабенда (вроде «несоизмеримости»), из литературных опытов Рорти. Для одних «факты историографии» представляют собой некие абстрактные подобия «исторических фактов», для других в истории вообще нет никаких фактов, есть только многообразное сочинительство историков. Одни держатся наивно-

¹¹ «В любом случае мы начинаем с некоторой прежней версии или с некоторого прежнего мира, который находится у нас под рукой и с которым мы имеем дело до тех пор, пока у нас не появится достаточно решимости и навыков, чтобы переделать его в новый. Ощущаемое упрямство фактов — отчасти лишь власть привычки... Создание миров начинается с одной версии и заканчивается другой» (Гудмен Н. Способы создания миров. М., 2001. С. 212).

го реализма или даже абсурдной «теории отражения», тогда как другие полагают, что их способность «символической репрезентации» равнозначна чуть ли не божественной способности творить из ничего. При этом сам лексикон этих «новаторов» выдает то, что они остались на позициях того же эмпиризма, только заменили догматизм «теории отражения» скептицизмом — каждый придерживается собственной *point of view*¹², никто не в состоянии кого-нибудь опровергнуть, поскольку свидетели давно умерли, а «символическая репрезентация» одного ничуть не хуже, чем у другого.

Слово «репрезентация» может означать и чувственный образ (представление), и акт мышления. Строго говоря, уже этимология этого слова указывает на работу мысли: нечто ранее мне явленное вновь делается для меня предметом посредством рефлексии — я утверждаю нечто относительно ранее воспринятого, пережитого, данного без рассуждения¹³. В таком случае оно вряд ли подходит к деятельности историка, который не имеет личных впечатлений от прошлого — в отличие от индивида, вспоминающего какое-то событие в своем прошлом в виде чувственного образа, историк не располагает такого рода подсказками. Даже если мы рассказываем о собственном прошлом другим людям, то вынуждены пользоваться суждениями, которые кто-то может оспорить; историк пишет не о собственном прошлом (хотя он тоже может написать мемуары), а потому всплывающие в памяти чувственные образы не имеют никакого отношения к труду историка. Разумеет-

¹² Скептицизм этих историков столь же наивен, как и догматизм их учителей. Если каждый волен рассказывать все, что угодно, если предмет зависит от произвола наблюдателя, то нужно вообще распрощаться с самим термином «наука», заменив его, скажем, словосочетанием «претенциозная болтовня». Если продумать все «экзистенциальные» последствия, то к ним относится ликвидация факультетов и кафедр, прекращение государственного финансирования и т.п. санкции — разве налогоплательщик обязан содержать тех, кто сочиняет скучные сказки? Историк в таком случае отличается от авторов «фэнтэзи» только отсутствием литературного таланта.

¹³ С. Тулмин удачно разграничил немецкие слова *Vorstellung* и *Darstellung*: в первом случае речь идет о чувственном созерцании, внутреннем образе, тогда как во втором «представление» означает демонстрацию, выявление, изображение (Тулмин С. Человеческое понимание. М., 1984. С. 198—200). В науке имеются многообразные способы изображения предметов, которые, конечно, опираются на нашу психофизиологию, но изображаем мы эти предметы посредством суждений, символов, схем, моделей. Наивная теория отражения и столь же наивный субъективизм являются двумя сторонами одной медали — учения о «репрезентации» как ментальном повторении (копировании) внешнего предмета. Переход от ленинской теории «фотографирования» к крайнему релятивизму так легко произошел у немого числа наших гуманитариев именно потому, что обе эти позиции избывают от необходимости думать собственной головой.

ся, существуют «устная история» и «история настоящего», но воспоминания людей о пережитом ими являются только источниками среди множества прочих. От того, что имеются группы людей, вспоминающих как они общались с «зелеными человечками», прилетевшими на НЛО, еще не следует то, что мы должны им безусловно верить.

Спонтанно возвращающиеся ко мне образы прошлого и записанные на магнитофон рассказы принадлежат «территории», суждения по их поводу — «карте». Все источники расположены на «территории историка», «карту» прошлого он создает сам. Уже отнесение воспоминания к вспоминаемому есть акт мышления — утверждение или отрицание, ответ на вопрос и т.д. Субъективный порядок воспоминаний совсем не обязательно соответствует тому порядку, в котором происходили события в прошлом. Всем нам понятно, что рассказ о впечатлениях, образах, движениях и т.п. отличается от самих ощущений или актов. Понятия не содержат в себе ни красочности наглядных образов, ни многообразия оттенков переживаний, но без них была бы невозможна не только наука, но и общение, накопление опыта. Если воспользоваться метафорой Гегеля, понятия суть «деньги духа», т.е. и средства обращения, и мера ценности опыта, и орудие его накопления и приумножения. Опыт, который не доходит до понятийного уровня, может быть и красочным, и куда более важным для нас лично, чем все понятия, но мы не в состоянии поделиться с другими, передать его и даже зафиксировать.

«Чистого» наблюдения не существует, уже описание наблюдения предполагает использование дескриптивного языка со словами, фиксирующими сходства и различия, классификации, категории и термины¹⁴. Факты любых наук суть понятийные конструкции, результат отбора свидетельств, сопоставления, обобщения и т.п. процедур. Говоря о «политике Ришелье», мы группируем свидетельства, обособляя несколько тысяч документов из примерно 7 млн., дошедших до нас из Франции XVII столетия — без этих операций историка сами документы остаются немymi.

В истории невозможны «протокольные предложения», описывающие наш опыт; если согласиться с Поппером, таковых нет и в других науках — любые «базисные суждения» суть высказывания по поводу событий во внешнем мире. Источники представляют собой эмпирический базис истории, но высказывания историка (после соответствующей критики источников) относятся не к этим свидетельствам, сле-

¹⁴ См.: Поппер К. Предположения и опровержения. М., 2004. С. 84—85.

дам прошлого, но к самим событиям прошлого. Уже поэтому все исторические высказывания гипотетичны и, если не брать «историю настоящего», недоступны для верификации. Каждое суждение входит в систему суждений и умозаключений всей исторической науки, а потому у нас имеются основания для того, чтобы относить немалое число высказываний к безусловно ложным, даже если в дальнейшем иные из них могут оказаться «научными». Возможно появление новых источников, которые могут дополнить картину нам известного или даже фальсифицировать те или иные гипотезы, принимавшиеся большинством историков. Разумеется, существует то прошлое, которое всегда будет от нас скрытым — неведомое на порядки превосходит все то, что нам известно. Область *ignorabimus* несравненно шире любых наших знаний, и никакие усилия историков не позволят нам судить о языке и верованиях людей большинства исчезнувших бесписьменных культур.

Полное или окончательное описание прошлого невозможно, причем не только потому, что могут выясниться некие новые обстоятельства («факты»). История переписывается чуть ли не с каждым новым поколением, поскольку возникли новые перспективы, доктрины, субъекты истории, от имени которых ведется повествование. Мы приписываем прошлому смыслы, которые не были очевидны для самих людей прошлого; более того, движение истории означает разрастание прошлого — предшествующее рассматривается в свете того, что последовало за ним. Мы смотрим на войну 1914—1918 гг. с учетом того, что из нее проистекло (Вторая мировая война, фашизм и коммунизм и т.п.). Нам нужно судить о прошлом любого общества, сознавая многовариантность истории: исчезновение цивилизации, смена одного стиля живописи на другой, крушение того или иного политического проекта — все это не было «запрограммировано»¹⁵. История не завер-

¹⁵ Скажем, германскую историю последних двух столетий (или даже со времен Оттонов) нельзя рассматривать без учета идеи «Рейха», но она толковалась по-разному, и исчезновение этого проекта в итоге Второй мировой войны связано с тем, какую трактовку дали ему немецкие элиты в 1920—1930-е гг.; однако эта трактовка не была единственно возможной. Как писал С. Хаффнер, «Немецкий Рейх» — это могло значить либо: столько Германии, сколько сумеет удержать за собой Пруссия; либо: столько Европы, сколько сможет захватить Германия. Первое истолкование принадлежало Бисмарку, второе — Гитлеру. Путь от Бисмарка к Гитлеру есть история германского Рейха, но одновременно и история его падения (Haffner S. Von Bismark bis Hitler. Ein Rückblick. München, 1987. S. 16). Однако любой историк понимает, что Германия и Австрия могли бы быть сегодня одним государством (либо ФРГ и ГДР по-прежнему существовали бы как разные, либо Бавария была бы обособленным *Freistaat* и т.д.).

шилась, а потому мы сейчас не можем знать «окончательный» смысл шумерской цивилизации, ислама или индустриализации. Это не мешает историку сейчас, в то самое время, когда он пишет о Шумере или индустриализации держаться фактов, избегать вымыслов и скептически смотреть на историософские доктрины, обещающие уже сейчас истинное знание «конца истории». Для хоть сколько-то грамотных историков критика «метанарративов» не порождена «состоянием постмодерна», но была осуществлена уже Буркхардтом и Дройзеном, развита Трельчем и другими представителями «историцизма».

Мы понимаем других людей по аналогии с самими собой, сопоставляя их представления об объектах и процессах с нашими собственными. Чем дальше от нас интересующие нас существа, тем меньше мы их понимаем, поскольку тем меньше возможны аналогии с нашим собственным кругом представлений о мире. Все «науки о духе» неизбежно опираются на индукцию (вывод по аналогии есть разновидность индуктивного вывода). Особенность истории заключается в том, что мы имеем дело с обществами, которые «работали» по иным правилам, чем наше собственное. Нечто совсем иное (*ganz Andere*, как говорят немецкие теологи об опыте Бога) не могло бы войти в связный рассказ — без сходных черт, заданных человеческой природой, мы не могли бы говорить и об отличиях. Те науки о человеке, которыми располагает историк, возникли в последние два века и ориентированы на реалии индустриального (и постиндустриального) общества. Современные экономические и политологические теории лишь с огромными натяжками и немалыми оговорками применимы к Древнему Египту, в котором одной из главных отраслей хозяйства было созидание достойных могил для усопших.

Предметом для историка оказываются институты, которым далеко не всегда можно найти аналог в нашем мире. Поэтому в задачи историка может входить создание социально-экономической модели для изучаемых им обществ прошлого (французский феодализм у Блока или «римский капитализм» у Ростовцева). Всегда имеется риск анахроничных модернизаций: сравнения храмового хозяйства в Аккаде с колхозом, а строительства пирамид со строительством железной дороги Архангельск — Норильск столь же анекдотичны, как и сравнение живописи Пикассо с наскальными рисунками людей верхнего палеолита. Но выдвигаемые модели фальсифицируемы, их можно заменять лучшими. Если мы считаем познаваемой нашу социальную реальность, если экономика, социология, демография, лингвистика и прочие науки дают нам правдоподобное знание об окружающем мире, то нечто подобное мы можем сказать и о прошлом, будь оно недавним или давним.

Настоящее и прошлое

Специалист по иным культурам сталкивается с людьми, которые могут иметь совсем другую картину мира — этнографы изучают жизнь племен, которая мало чем изменилась со времен неолита, изучающий современную Японию или Индию европеец должен считаться с особенностями исследуемых им обществ. Однако этнограф может несколько лет прожить вместе с изучаемым племенем, а социолог или демограф вступают в общение с индийцами или японцами, которые могут поделиться с ними сведениями. Не только отличие людей прошлого от нас самих определяет специфику исторического познания, но и невозможность непосредственного общения: наши современники разделяют с нами одну и ту же картину мира, они живы и могут опровергнуть описание, сославшись на личный опыт.

Э. Хобсбаум однажды удачно наметил область между «современностью» и «историей», указав на то, что к чисто историческому исследованию при изучении недавнего прошлого примешиваются внешние для него факторы. Это — «сумеречная зона» между историей и памятью, между огромным числом доступных документов (много большим, чем за любой другой век истории) и памятью участников событий, которые еще способны сказать ему: «Нет, это было совсем не так».

Наша собственная жизнь вплетается в повествование, поскольку мы сами слышали рассказы тех, кто застал времена, которые станут предметом собственно исторического познания только для наших внуков; мы сами сформированы этими недавними событиями, а потому даже самый строгий ученый вдруг сбивается на политическую публицистику. Тем более, что времена быстрых перемен, революций, слов, «мутаций» никак не способствуют объективности взгляда. Память еще не утасла, историк либо должен ждать еще несколько десятилетий (но тогда может завершиться и его жизнь), либо соревноваться с социологами, демографами, экономистами и даже журналистами; ему приходится опрашивать живых, а не мертвых; работу в архивах ему заменяют интервью со свидетелями.

Если мои предки участвовали в обеих мировых войнах, в Гражданской войне (причем кроме обычных «белых» и «красных» были еще и украинские националисты) и поделились со мною воспоминаниями, то вряд ли у меня будет непредвзятый взгляд ученого на эти события, тогда как аналогии современных событий со Смутным временем или борьбой Василия Темного и Шемяки кажутся мне натянутыми —

у меня нет о них не только личной памяти, но и рассказов непосредственных участников. Для тех, кто родился в последние десятилетия этого века, его начало уже стало историей, для немногих живых свидетелей оно остается настоящим, тогда как для людей моего возраста оно пребывает в указанной Хобсбаумом «сумеречной зоне».

Недавнее прошлое лишь в небольшой своей части является предметом исследований историка: сбор свидетельств участников «мая 1968 года», анализ войны США во Вьетнаме или итальянского кино 1960-х гг. непосредственно примыкают к разбору идеологии, геополитики или искусства в настоящий момент. Занятому этим недавним прошлым историку чрезвычайно трудно удержаться от оценочных суждений. Впрочем, от таких суждений иной раз трудно удержаться и в рассказе о давнем прошлом. Православный, католик и протестант будут по-разному излагать ряд эпизодов в истории христианства, но все они равно недоброжелательно станут судить о язычестве, о гностиках и манихеях.

История не является беспредпосылочной наукой, она всегда явно или неявно включает в себя ряд тезисов относительно природы, общества, человека. В рамках великой интеллектуальной традиции буддизма историческая наука просто не могла возникнуть — отсутствовали метафизические предпосылки¹⁶.

Сегодняшний историк вряд ли станет прибегать к словарю демологии при объяснении тех или иных событий; ему достаточно того,

¹⁶ При наличии чрезвычайно тонкого психологического анализа и достаточно развитой уже в ранний период буддизма эпистемологии историческое знание для буддизма имело крайне незначительную ценность. Буддисты не отвергали ни чувственного источника знаний, ни рационального вывода, но предметом познания для них были моментальные психические состояния (дхармы). Чем-то давняя аргументация буддистов напоминает некоторых современных эпистемологов. «Уникальное событие, зафиксированное в своей пространственно-временной конкретности, недоступно повторному презентативному постижению (уникальное во времени нельзя увидеть повторно). Умозаключать относительно уникального также бессмысленно, ибо сама идея логики предполагает повторяемость, типизацию, обобщение. Таким образом, историческое свидетельство, будучи сообщением из вторых рук (причем сообщением об уникальном), не образовывало в контексте абхидхармистской эпистемологической парадигмы специального предмета познания, т.е. предмета истинного знания ... в рамках философской рациональности такая "история" оказывалась качественно неотличимой от поэтического вымысла» (Рудой В.И., Островская Е.А. Учение об историческом времени и обществе в индийской классической философии. М., 2002. С. 23—24). Такой взгляд на историю чем-то напоминает нам суждения Аристотеля, однако греческая метафизика уже содержала возможность исторического мышления, поскольку была в основном континуалистской.

что персонажи его рассказа верили во вмешательство демонов, но сам он воздержится от трактовки эпидемии как кары за грехи, а иконоборчества — как дьявольского искушения. Историк принимает научную картину мира своего времени, хотя его знания в области астрофизики, органической химии или генетики сводятся к школьному учебнику. Он не обходится без философии, даже если толком никогда ее не изучал, поскольку читанные им учебники писались теми, кто ее не игнорировал. Исходным пунктом всех социальных наук является некая негласно принимаемая картина мира, включающая в себя человека и содержащая определение того, что такое человек. Все факты этих наук зависят от того, какую картину мы принимаем: для современного социолога или экономиста вмешательство ведьм в аграрное производство представляется чем-то немислимым, но предки этого ученого еще триста лет назад сжигали ведьм за падеж скота или неурожай. (Правда, совсем недавно аварии на производстве могли истолковываться сходным образом как результат действий «шпионов и вредителей».)

Любая речь об истории длится какое-то время, а потому по ходу рассказа мы имеем как минимум четыре прошлых: 1) непосредственно предшествующее данному моменту прошлое (одни фразы вытекают из других, сохраняется логика изложения, внимание слушателей...); 2) прошлое всего повествования (сказанное двумя главами выше, на лекции в начале семестра, написанное автором прошлого века по тому же поводу...); 3) то событие, о котором идет речь, его место (эпоха, год, «Великое переселение народов», «походы Александра» и т.п.); 4) длительность самого описываемого события («битва при Фарсале», «речь Мирабо перед депутатами», «драка Потемкина с братьями Орловыми» и т.п.).

Можно и далее подразделять как субъективное время рассказчика, так и временные параметры объекта. Для этого в романских и германских языках существуют различные модификации — *past continuous* отличается от *past perfect*, *passé composé* от *plus-que-parfait* и т.д. Обращу внимание только на то, как эти грамматические формы используются во Франции, тем более, что там, во-первых, имеются даже министерские предписания относительно того, какие временные формы использовать в школьных сочинениях и магистерских диссертациях, и, во-вторых, наметилась любопытная тенденция — замены прошлого времени на настоящее в текстах большинства историков. Я опираюсь здесь на работу Ж. Ледюка¹⁷, который проанализировал огромное число

¹⁷ Leduc J. Les historiens et le temps. Conceptions, problematiques, ecritures. Paris, 1999. P. 209—211.

монографий, статей, учебников и пришел к выводу, что научное сообщество французских историков на протяжении нескольких десятилетий перешло от прежнего использования *passé simple* к *present indicatif*.

Историки всех народов часто используют настоящее время, когда они приводят аргументы в пользу той или иной концепции, излагают свою точку зрения. Настоящее время вполне уместно там, где историк занят критикой источников (они ведь перед нами в настоящем); к настоящему прибегают и историки, имеющие дело с сериями повторяющихся событий, при формулировке тех или иных номических суждений. Определение значения термина, характеристика того или иного психологического типа, который и в настоящем остался таким же, как и прежде, описание поведения группы, которое соответствует аналогичному поведению сходных групп в настоящем («все элиты утрачивают власть, если...»). Наконец, настоящее время может использоваться и в суждениях, которые задают пространственно-временные рамки происходившего — физическая география в основном не менялась, Нил и Волга текут там же, где и прежде, Версаль и Кремль остались на своих местах. Иными словами, идет ли речь о суждениях вкуса, банальностях, законах, историки всегда пользовались и настоящим временем.

Однако современные французские историки перешли на употребление настоящего времени там, где они ранее использовали исключительно *passé simple*, т.е. то время, которое, по словам Э. Бенвениста, идеально подходит для исторического рассказа, поскольку указывает на дистанцию между рассказчиком и объектом. Это время выражает завершившееся в прошлом событие или имевший место факт, который не имеет связи с настоящим. Используя это время, французские историки излагали прошлое так, словно вообще нет рассказчика — о себе рассказывают сами события. *Passé simple* уже давно не употребляется в устной речи, но оно господствовало в исторических сочинениях. Для передачи событий, которые имеют отношение к настоящему, употреблялось *passé composé*, для выражения того, что в прошлом должно было стать ближайшим будущим, использовалось *futur simple* («через два года принц станет королем», «он будет убит эсерами в 1905 году» и т.п.). Переход от всей этой гаммы временных модальностей к настоящему времени представляет собой достаточно интересный феномен.

Ж. Ледюк отмечает, что нейтрализация той дистанции, которая отделяет нас от прошлого, связана с желанием историков «придать жизнь» своему рассказу, с их склонностью подчеркивать связь прошлого с настоящим — история служит сегодняшним практическим целям, она помогает нам ориентироваться в современных проблемах. К этому

добавляется, с одной стороны, «онаучивание» истории в школе *Анна-лов* (слившись с социальными науками, история говорит языком законов экономики и социологии), а с другой стороны, литературные устремления представителей «la nouvelle histoire», сближающие их с «постмодернизмом». Вероятно, связано это и с тем, что мы живем в обществе, где все меньше читают, где устная речь навязывает свои правила письменности. В любом случае историки все реже смотрят на прошлое, как на нечто невозвратно ушедшее, независимое от современности. Историки желают быть полезными согражданам, они обслуживают сегодняшние практические цели — «презентизм» стал чуть ли не нормой для большинства современных историков.

Строго говоря, «настоящее» никогда не понималось историками как аристотелевское «теперь», как подвижная точка между прошлым и будущим, не имеющая собственной протяженности и какого бы то ни было «размера». Настоящее всегда включает в себя и недавнее прошлое, и близкое будущее. Человек — существо деятельное, а любое действие предполагает как идущие из прошлого мотивы и потребности, так и направленные в будущее цели.

Однако даже в самые спокойные времена и у самых аполитичных историков «настоящее» неизбежно включает в себя прошлое и будущее — все зависит от того, какой отрезок времени служит для нас этим настоящим. Произнося слова «наука Нового времени», мы не только противопоставляем ее античной и средневековой, мы имеем в виду не только Галилея, Декарта или Ньютона, но также современное естествознание. Говоря о «британском колониализме», мы вынуждены считаться с тем, что кое-какие колониальные территории сохранились доньше и даже вызывают конфликты (Гибралтар, Фолклендские острова). Настоящее может растягиваться на столетия, хотя чаще всего оно включает в себя сравнительно недавнее прошлое и ожидаемое будущее, ради которого совершаются те или иные действия.

Это подводит нас к вопросу о том прошлом, которое специфично для историографии. Социолог, экономист, психолог имеют дело либо с недавним прошлым, примыкающим к настоящему (*passé immédiat*, *present perfect*). Даже если оно длилось долгое время, они интересуются более всего тем, что повторялось в прошлом. Историк также обращается к такого сорта повторениям, но специфику истории как дисциплины составляет изучение именно того, что случилось и ушло вместе с жившими некогда людьми. Романтическая теория уникального и неповторимого сужает взгляд историка (в прошлом было сколь угодно

но повторяющихся событий), но она верно указывает на конечность и смертность индивидов, групп, цивилизаций, которые рождались и умирали, — ни Моцарта, ни Колумба, ни викингов, ни шумерской цивилизации больше не будет, они уникальны и интересуют историка «как они действительно были». Я могу знать все теории по поводу рабовладельческой экономики, могу сопоставлять статус римских рабов с илотами в Спарте или крепостными в России, но если меня интересуют именно илоты, то я имею дело с тем, что было и навсегда ушло вместе со Спартой. Конечность и краткость человеческой жизни является онтологической предпосылкой истории.

Прошлое историка отличается от прошлого других представителей нашей культуры, не говоря уже о прошлом людей иных народов и цивилизаций, являющихся предметом его исследования. Историография зависит от предания, от памяти народа, т.е. от суммы представлений о прошлом, существующей в сознании индивидов и групп, но к ним не сводится. Исторические представления какой-нибудь давней эпохи чрезвычайно интересны для историка, они являются важным элементом ментальности того или иного народа — без традиции не существует ни одно человеческое общество. Если предметом исследования являются исторические представления и способы их передачи, то историк вполне может употреблять такие понятия, как «культурная память», «коммуникативная память», даже «историческая память», имея в виду то, что древний египтянин или вавилонянин имел представления о генеалогии правителей, династиях, нашествиях варваров и т.п. У него имелись относительно достоверные сведения о недавнем прошлом, о тех временах, куда вели четкие династические линии — это прошлое воспринималось почти так же как настоящее, было с ним в основных чертах схоже. С ним соприкасалось время, которое М.И. Стеблин-Каменский называл «периферийным»: воспоминания об этом прошлом смутны, это время чудес и героев.

«И наконец, мифическое время — время, лежащее за пределами народной памяти, время богов; здесь вообще часто нельзя сказать, что одно мифическое событие произошло раньше другого. События как бы плавают в некоей плазме, а точнее, находятся вне всякого времени. (Время праздников — сакральное время, прорыв во время мифическое, его возвращение, установление с ним какого-то контакта.)»¹⁸

¹⁸ Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии. Человек, время, судьба. М., 1983. С. 25.

Даже в эпоху всеобщего среднего образования, обязательного изучения истории в школах, популярных статей в газетах и т.п. исторические представления большинства людей мало чем отличаются от такого рода представлений у бесписьменных народов. Одной из особенностей исторической науки является именно то, что она прямо или косвенно отрицает мифическое время, объясняет чудеса естественными причинами, превращает культурных героев в полководцев и законодателей. Как и прочие науки Нового времени, история «расколдовывает» действительность (на ее роль в дескарализации мира указывали многие историки, в частности, Ф. Мейнеке). Сколь угодно давнее прошлое подобно настоящему, в котором не обнаруживается ни богов, ни чудес; и оно отлично от настоящего, поскольку на примерно той же сцене (природа мало в чем изменилась) действовали люди с иной, чем нынешняя, ментальностью.

Историю начали писать люди, желавшие сохранить память о героях прошлого для потомков, показать ошибки и преступления правителей в качестве урока для нынешних и будущих, восславить свой город или государство. Мы постоянно сталкиваемся с такого рода текстами и поныне — изменились лишь средства. То, что в учебниках по национальной истории присутствуют практические цели, ни для кого не является секретом, поскольку на уроках истории нужно в том числе и воспитывать будущих граждан. Партийная пропаганда, информационные войны, юбилеи, смена одних памятников другими — все это и многое другое имеет отношение к практическому использованию исторических знаний. Немалое число историков и философов считает это неизбежным, и выбор имеется лишь между «хорошим» и «дурным» использованием.

Собственно говоря, один из тезисов историцизма заключался в том, что прошлое всегда соотносится не только с настоящим, но прежде всего с будущим — в зависимости от нашего выбора будущего мы переосмысливаем прошлое. Реальность, которой соответствует историческое познание, исторична: сама: реальность есть продукт человеческого действия, осуществление свободы. Историческое познание освобождает от мертвых традиций. Формы духа являются не только категориями познания, но также способностями действия. Сам ученый историчен, он ангажирован, он пишет с определенной точки зрения, а не *sub specie aeterni*, а потому любое прошлое вплетено в решение задач настоящего. В таком случае, действительно, есть смысл отказаться от *passé simple* — прошлое всякий раз перечитывается заново в зависимости от «социального заказа» или «аутентичного выбора». Правда, тогда и выбор остается между официальными историями, ерети-

ческими историями, мечтающими сделаться официальными, и ни к чему не обязывающими писаниями тех, кому вздумалось посмотреть на прошлое с какой-нибудь экзотической точки зрения. Оруэлл лишь преувеличил то, что и без того творится политической историей: она переписывается заново в соответствии с «интересом».

Немецкий неоконсерватор Г. Рормозер написал о немецких дебатах о прошлом книгу, озаглавленную: «Кто интерпретирует историю?» Вся она служит доказательству единственного тезиса: «тот, кто истолковывает историю, тот определяет также и политику». Нам это хорошо известно: на место коммунистической пропаганды у нас довольно быстро пришло ничуть не менее эффективное «промывание мозгов», и сегодня ссылки на историю играют немалую роль в манипуляциях общественным мнением. Но специалисты по пропаганде и агитации не одиноки: в политической истории давно оформился некий «канон», где вся история, равно как и ее часть — история мысли — рассматривается через несколько оппозиций, вроде: свобода мысли и совести *versus* теократия (жречество, цензура, инквизиторы и т.д.); свобода против тирании; гражданское общество против этатизма или абсолютизма (в XX в. все это в рамках одной оппозиции — демократия или тоталитаризм).

При этом история Запада рассматривается как триумфальное шествие свободы, «модернизации», это — великий нарратив Европы, разума, свободы. Такой взгляд характерен не только для марксистов. К. Поланьи в «Великой трансформации» писал о привычке либералов видеть в десяти последних тысячелетиях, во множестве первобытных обществ, простую прелюдию к истории нашей цивилизации, начинающейся где-то с публикации «Богатства народов» А. Смита. Ранее это называлось *Whig history*, но социал-демократия и консерватизм сегодня трактуются как составные части того же движения, субъектом которого оказывается хорошо знакомое «все прогрессивное человечество». Попытки оспорить эту *Whig history* со стороны всякого рода протестных теорий (феминизм, «третий мир» против «белой» истории и т.п.) сочиняются в духе постмодерного релятивизма, не затрагивая ее ядра — просто меняются или добавляются новые носители «эмансипации»¹⁹. Почти все то, что было написано за последние два столетия с употреблением понятия «прогресс», относится к идеологии и пропаганде.

¹⁹ См.: Stuurman S. The Canon of the History of Political Thought, Its Critique and a Proposed Alternative // *Theory and History*. 2000. Vol. 39. No. 2. P. 147—166.

Вряд ли следует сокрушаться по поводу того, что во многих трудах историков явно или скрыто присутствует наивная телеология: люди веками «вели борьбу за освобождение», дабы у власти находилась именно эта партия; развитие искусства должно было породить именно этот «изм» и т.д. Нам нужно ориентироваться в настоящем, от истолкования прошлого зависят все проекты будущего — писание истории начинается с удовлетворения практических интересов²⁰. Сами люди прошлого уже не нуждаются в каких бы то ни было сведениях о своей жизни — в надежной информации о прошлом нуждаются ныне живущие.

Потребность в знании прошлого существует даже в первобытном племени, поскольку человеческое существование невозможно без традиции, без передачи знаний, умений и навыков. Мы не свободны от прошлого, даже если его игнорируем. Практический взгляд на прошлое преобладал у историков вплоть до XIX в. Этот взгляд неизбежно предшествует всем остальным, поскольку люди ищут полезное исходя из изначальной для экономики мысли Аристотеля: полезность блага выше, пока его у человека нет, а с его приобретением полезность падает. Однако наивный утилитаризм все же сравнительно редко становится для историков фундаментом научных исследований — по существу, принятие такого «основоположения» уничтожило бы науку.

Сегодня сторонники «органической» связи истории с современностью чаще всего ссылаются на работу Ф. Ницше «О пользе и вреде истории для жизни» (иной раз по недоразумению поминают также «Бытие и время» М. Хайдеггера), но этот взгляд куда яснее выражали давние сторонники *historia rerum gestarum*. Д. Юм писал о трех преимуществах, проистекающих из изучения истории: «она ласкает воображение, совершенствует ум и укрепляет добродетель»; она открывает дорогу другим видам знаний и снабжает материалом большинство наук — без нее «нам было бы суждено раз навсегда остаться по своим понятиям детьми», тогда как о сведущем в истории человеке «можно некото-

²⁰ Впрочем, не следует преувеличивать роль «социального заказа» на исторические знания, да и на научные знания как таковые, вплоть до второй половины XIX в. Такой заказ «на историю» появляется вместе с всеобщим школьным образованием, учебниками, газетами, большими тиражами популярных книг, историческими романами, националистической пропагандой и т.д. Историки могли быть политически ангажированными и в прошлом (Тит Ливий или Тацит таковыми, конечно, были), но феномен идеологизированной истории, претендующей в то же самое время на звание строгой научной дисциплины, принадлежит только XIX—XX вв.

рым образом сказать, что он живет с самого начала мира и из каждого столетия черпает нечто для обогащения своих знаний»²¹.

Вряд ли кто-нибудь станет отрицать такого рода «пользу от истории», но она сводится к лучшему пониманию людей и обстоятельств, к тому, что мы делаемся чуть менее «провинциальными», перестаем считать свой век с его мнениями или свою точку зрения единственно возможными. Но это совсем не означает того, что мы учимся по прецедентам или становимся моральнее и прозорливее в решении наших проблем, познакомившись с деяниями людей прошлого. «Уроками мудрости» свои лекции или статьи считают, чаще всего, весьма недалекие историки, хотя прямо указывать на то, что история полезна для нас как *magistra vitae*, все же честнее, чем практика огромного числа тех, кто декларирует свою верность детерминизму, а затем прилагает все усилия для того, чтобы причинно-следственные связи вели к желанной цели.

В известной статье М. Оукшота «Деятельность историка»²² проводится удачный анализ того «прошлого», с которым имеют дело историки. Оно всякий раз выступает как конструкция, которая зависит от установок исследователя. Если «прошлое» служит тому, чтобы направлять нашу настоящую деятельность, если оно связано с интересами, проектами, позициями, то его можно назвать «практическим». Здесь нет принципиального отличия между моралистом, осуждающим Тиберия или Ивана IV за тиранство и казни, и тем, кто пишет о развитии фабричного законодательства, имея в виду настоящее положение рабочих. «Мы читаем прошлое назад от настоящего или менее далекого прошлого, мы всматриваемся в него в поисках “истоков” того, что видим вокруг себя»²³. «Научное» отношение к прошлому конституирует его как независимое от нас, как с нами не связанное, «прошлое само по себе». Можно сказать, что это — «история для истории», познание ради самого познания. Наконец, существует «созерцательное», т.е. в основном эстетическое отношение к прошлому, дающее

²¹ Юм Д. Об изучении истории // Юм Д. Сочинения. М., 1965. Т. 2. С. 818—820. Гёте выразил ту же мысль в стихах:

Wer nicht von drei tausend Jahren
Sich weiss Rechenschaft zu geben
Bleibt im Dunkel unerfahren,
Mag von Tag zu Tage leben.

²² См.: Оукшот М. Рационализм в политике. М., 2002. С. 128—152.

²³ Там же. С. 136.

«кладовую чистых образов»²⁴. Все мы охотно читаем исторические романы и смотрим фильмы, в которых прошлое чаще всего приукрашивается, предстает в многообразии и блеске. Часто это отношение к прошлому окрашено в тона ностальгии — мы бежим в воображаемое прекрасное прошлое из заунывного и монотонного настоящего. «The good old times — all times are good, when old», — писал когда-то Байрон. Если отвлечься от деталей и не вступать в полемику с Оукшотом по ряду моментов (прежде всего в связи с его пониманием науки), то можно согласиться с ним в том, что практическое и эстетическое отношение к прошлому предшествуют научному и всегда будут его сопровождать. Практическое отношение к прошлому преобладало прежде, оно господствует и сегодня — мешает оно не человечеству, а только историкам. Господствующий ныне «презентизм» Оукшот называет «политикой, обращенной в прошлое» и даже «некроромантией»²⁵. Сходным образом оценивал такое «воскрешение из мертвых» Л. Февр²⁶, писавший о том, что в результате мы вторично убиваем мертвых, лишая их уже не биологической жизни, но всего того, что относилось к их духовной жизни: на место того, что они ценили, любили, ненавидели, что знали и на что надеялись, ставятся современные представления и чаяния, наклеиваются удобные этикетки — один служил «прогрессу», ибо готовил секуляризацию в «века тьмы», а другой был «реакционером», поскольку отстаивал веру и т.п.

Научный взгляд на прошлое начинается с понимания той пропасти, которая нас отделяет от прошлого, — люди далеких эпох действовали в иных обстоятельствах, были сформированы иными верования-

²⁴ Речь идет не столько об истории искусства, сколько о «театре истории», колоритности персонажей и т.п. В области самого искусства и ссылки на авторитеты, и всякого рода сентиментальные биографии, излагающие, как «чувствовал» художник, неуместны. Как писал П. Валери: «Самые полезные и самые глубокие понятия, какие мы можем составить о человеческом творчестве, в высшей степени искажаются, когда факты биографии, сентиментальные легенды и тому подобное примешиваются к внутренней оценке произведения. То, что составляет произведение, не есть тот, кто ставит на нем свое имя. То, что составляет произведение, не имеет имени» (Валери П. Об искусстве. М., 1993).

²⁵ «...Событиям не дают спокойно уходить в прошлое, стремятся сохранить их живыми, искусственно продлевая жизнь или (если нужно) воскрешая их из мертвых, чтобы они могли передать свои идеи. Мир желает только учиться у прошлого и конструирует “живое прошлое”, которое с кажущейся убедительностью повторяет выражения, вложенные в его уста» (Оукшот М. Рационализм в политике. С. 151). Эти суждения Оукшота вполне применимы к современным теориям «исторической памяти» и «исторической травмы».

²⁶ Febvre L. *Amour sacré, amour profane. Autour de l'Heptameron*. Paris, 1944. P. 356.

ми и решали иные проблемы. История не повторяется — все мы занимаем определенное место во времени, и даже часто повторяющееся действие входит в неповторимый контекст²⁷. Ссылки на прецеденты бесполезны: нам нужны ориентиры, у нас имеются предшественники, мы следуем некоей традиции. Но если мы видим в людях прошлого лишь тех, кто готовил настоящее, то они выступают как средства для наших целей, как пешки в нашей шахматной партии. Все те сочинения, в которых прошлое рассматривается как урок для настоящего, как «исток», как резервуар решений для нынешних проблем, как священная традиция, которой нужно держаться, или как «века мрака и предрассудков», эксплуатации и невежества, каковые нужно преодолеть и т.д., могут быть написаны в высшей степени талантливыми и хорошо знающими факты людьми, но они остаются трудами социологов, распространяющих на прошлое открытые ими закономерности в настоящем, публицистов и эссеистов, а не историков. Среди авторов такого рода книг было немало значимых ученых — Кондорсе, Конт или Маркс таковыми, конечно, были, но они занимались не историей. Историк не является «пророком, оглядывающимся назад», даже если иной раз ему удастся верно предсказать будущее. Роль у него куда более скромная, как и у всех ученых. Он не «воскрешает прошлое» и не «способствует прогрессу» (тем более, не бежит впереди оно). Его интересует завершившееся, умершее, ушедшее. Даже если это прошлое сказывается на настоящем, историк должен брать это влияние «в скобки» — желающих открыть эти «скобки» и без него предостаточно.

Если прошлое, с которым имеет дело историк, есть завершившееся и безвозвратно ушедшее, выразимое посредством *passé simple*, а не *passé composé* (и уж никак не *present indicatif*), то возникает вопрос о дифференциации этого прошлого. Все мы согласны с суждением Броделя, писавшего, что «для историка все начинается и все кончается во времени»²⁸, но то же самое можно сказать о всех людях, а историки по-разному подразделяют прошлое (месяцы, годы и столетия по хроно-

²⁷ Г. Зиммель обратил внимание на то, что неповторимо каждое состояние на временной шкале, хотя в каждом из них имеется огромное число повторяющихся серийных событий. Будучи социологом, он оспаривал тезис романтиков, Дильтея и Виндельбанда об оригинальности индивидуальности всех исторических событий. Каждая точка на шкале времени неповторима, контекст постоянно меняется, а потому нет ни «скуки истории», ни «вечного возвращения» Ницше, ни «отрицания отрицания» Гегеля с постоянной «игрой на повышение» в каждом новом синтезе противоположностей.

²⁸ Braudel F. *Histoire et sociologie // Traité de sociologie / Ed. G. Gurvitch*. Paris, 1967. P. 95.

логии, но также «долге века», эры, эпохи, зоны и т.д.). Увлеченный жизнью Шумера или Милета исследователь может смотреть на них чуть ли не как на современников, тогда как историк сравнительно недавнего прошлого может подчеркивать дистанцию, отделяющую нас от наших дедов. Если первый стремится понять политическую жизнь Милета во время восстания против персов, а второй рассматривает экономические циклы, объяснимым становится и различие в установках, поскольку они имеют дело с различными прошлыми.

Хорошо известно введенное Ф. Броделем понятие *longue durée*, обозначающее почти неподвижное, сливающееся с геологическим или географическим, время. Бродель отличал от него «социальное время», понимаемое как время классов, государств, экономических циклов — соответствующее ему прошлое изучается не только по архивам, но также по всей совокупности статистических данных, по множеству «следов», оставленных купцами и мореплавателями, ремесленниками и крестоносцами. Наконец, Бродель писал и о том прошлом, которым традиционно занимаются историки, но к которому сам он испытывал нескрываемую неприязнь. Речь идет о «биографическом» времени, о мыслях и страстях отдельных людей, их конфликтах и примирениях, интересах и целях²⁹. Подчеркивая родство истории с социологией (в статье, написанной для «Трактата по социологии», составителем которого был Ж. Гурвич), он резко критически оценивал ту историографию, которая занята такого рода прошлым, сравнимым с «легкими колебаниями волн» на поверхности моря (он отнес ее даже к разряду журналистики)³⁰. Правда, далеко не все социологи сходным образом понимали задачи самой этой науки — сторонники М. Вебера или А. Шюца с ним

²⁹ «Это история кратковременных, резких, пульсирующих колебаний. Сверхчуткая по определению, она настроена на то, чтобы регистрировать малейшие перемены. Но именно эти качества делают ее самой притягательной, самой человеческой и самой коварной. Станем остерегаться этой еще дымящейся истории, сохранившей черты ее восприятия, описания, переживания современниками, ощущавшими ее в ритме своих кратких, как и наши, жизней. Она несет отпечаток их страстей, их мечтаний и их иллюзий» (Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. М., 2002. Т. 1. С. 21).

³⁰ Еще суровее он высказался о своих коллегах в первом предисловии к «Средиземному морю...»: «В XVI веке подлинный Ренессанс сменился Ренессансом бедных, покорных, одержимых манией писать, изливать душу и рассказывать о других» (Там же). Бродель не употребил здесь подразумеваемое слово «гуманист», но именно гуманитарии последних столетий вызывают его раздражение. Трудно сказать, насколько эти слова применимы к его предшественникам-позитивистам, вроде Ланглуа (или нашего Ключевского), но они точно характеризуют немалое число сегодняшних историков.

бы не согласились («Я понимаю под *социологией* чаще всего, почти всегда, ту глобальную науку, которую хотели сделать из нее Эмиль Дюркгейм и Франсуа Симиан»³¹). Предпосылкой его видения истории является именно принятие социологии как «глобальной науки».

Деление на «географическое, социальное и индивидуальное» время, конечно, не мыслилось Броделем как некая абсолютная схема — переходы от одного уровня к другому необходимы. В предисловии к третьему изданию «Средиземного моря...» он сделал ряд оговорок относительно «структур» географического прошлого и «конъюнктур» социального, пояснив, что они бывают разными по длительности. Помимо уровней «по вертикали» он признал и выстраивающиеся «по горизонтали» связи. Примирительно по отношению к индивидуальному времени звучат и его слова о «разделении человека на несколько персонажей» — заниматься биографией тоже осмысленно, но нужно иметь в виду и иные измерения времени. Однако основополагающим для него было все же «географическое» время, *la longue durée*, хотя очень многие его суждения в духе географического и экономического детерминизма спорны³².

Броделя иной раз упрекали за то, что он держался «ньютоновской» картины мира, не был знаком с теорией относительности и включал все перечисленные времена в астрономическое. Но теория относительности ничуть не менее «объективна» и «астрономична» — Эйнштейн вовсе не имел в виду того, что от позиции наблюдателя зависит ход времени (да и в мире, где скорости весьма далеки от скорости света, ньютоновская физика вполне верно описывает происходящее). Вряд ли этот «объективизм» можно считать недостатком сегодня, когда словосочетания вроде «социального времени негров в Гарлеме» или «культурной памяти жителей провинции Лангедок» сыплются как из рога изобилия.

³¹ Braudel F. Histoire et sociologie. P. 83.

³² Многие суждения характеризуют не среду обитания как таковую, но конкретную ситуацию, сложившуюся в рамках средиземноморья в определенный период. Как оценить фразу: «Неуверенность в завтрашнем дне, стесненные обстоятельства, опасности — таков жребий островов» — это верно применительно Корсике и Криту в описываемую Броделем эпоху Филиппа II, но относится ли это к Криту времен крито-микенской культуры (не говоря уж о Британии и Хонсю)? Было ли Черное море «константинопольским заказником» (Бродель Ф. Указ. соч. С. 150—152)? Было, если иметь в виду некоторые периоды византийской и турецкой экспансии, но само географическое положение моря не определяло эту экспансию, да и это направление было в ней далеко не самым важным. Скорее, Константинополь ощущал постоянную угрозу с Севера — готов, аваров, славян, не раз подходивших к его стенам.

При всей плодотворности моделей и конструкций, они все же остаются нашими творениями, созданными для решения познавательных задач. Онтологизация этих моделей приводит к заполнению космоса мифологическими сущностями. Любое «социальное время» (равно как и «социальное пространство») есть лишь результат взаимодействия между индивидами, результат синтеза их темпоральных представлений. Конечно, время переживается по-разному хилиастической сектой и дельцами на бирже, полагающими, что «время — деньги», но все эти лица со своими субъективными временами являются весьма незначительными частями космоса. История всегда пишется с учетом картины мира, имеющейся на данный момент, и нам вряд ли стоит отказываться от того понимания времени и пространства, которое сложилось в науке XX столетия (общая теория относительности Эйнштейна). Человечество в целом занимает не слишком значительное место во Вселенной; даже в сравнении со многими видами животных срок существования вида *homo sapiens* весьма короток. Только эпоха «раскрепощенной субъективности» способна делать из аффектов какой-нибудь группы вершину мировой эволюции. При всех различиях социальных групп, ни одна из них не обрела независимости от смен дня и ночи, сезонов и т.п. Человек есть «общественное животное», а потому любое представление о времени «социально» и «коммуникативно»; из этой тривиальной констатации вряд ли можно вывести бесконечное множество времен, в конечном счете совпадающее с множеством всех когда-либо живших людей.

Я привел хорошо знакомые суждения Броделя лишь с тем, чтобы указать на возможные подразделения прошлого (другие историки совсем не обязательно следуют за Броделем), а также в связи с тем, что он указал на временной аспект всех социальных структур, на различную длительность экономических, социальных и ментальных процессов³³. Стоит заметить, что при всей популярности словосочетания *la longue durée*, даже в самой школе *Анналов* многие понимали его иначе. Тот же Ле Гофф, писавший о средневековой цивилизации, которая существовала более тысячи лет вплоть до промышленной революции, критиковал Броделя за введение чуть ли не «неподвижного времени» — геология и география учитываются историком, но они выступают для него лишь как внешние рамки. У *longue durée* уже в мифологии многих народов

³³ В программной статье: Braudel F. Histoire et Sciences sociales. La longue durée // *Annales: E.S.C.* 1958. No. 4.

имеются свои предшественники — от «золотого века» мы пришли к «железному» (теперь «золотой» и «серебряный века» сменились на «каменный»). Было бы, действительно, смешно называть Цезаря или Бисмарка «выдающимися деятелями железного века», хотя бы потому, что почти все нам известное в прошлом относится к «железному веку».

Презентизм

В мире есть множество историков, желающих послужить своему государству или классу, повторяющих за поэтом «я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» или просто это перо продающих. И именно эти историки нередко настойчиво подчеркивают свою строгую объективность — чтобы их писания были куплены и высоко оценены, им нужна научная респектабельность. Подобно тому, как наличие монахов, помогающих иконе источать благовонные масла с помощью насосика, ничуть не опровергает существования Бога, так и творения политиканствующих ученых никак не порочат саму науку — они к ней чаще всего просто не имеют ни малейшего отношения. Да и всякому стороннему наблюдателю понятно, что лишь небольшая часть исторических сочинений вообще соотносится с идеологическими запросами сегодняшнего дня. Воспитание детей или музицирование в Англии времен Шекспира, математика в Вавилоне или поэзия вагантов, сочинения стоиков или бухгалтерские книги во Флоренции, полисы греко-македонцев в царстве Селевкидов или плавание викингов — все это и подавляющее большинство других тем исторических повествований никак не сводятся к отношению «друга» и «врага», попросту не относятся к узкой сфере политики.

Но и политическую историю — даже недавнего прошлого — совсем не обязательно пишут идеологически «ушибленные» историки. Именно поэтому всерьез занятый своим делом историк с недоверием относится к некоторым сегодняшним социологическим теориям, которые не только идеологически «ангажированы» (только дилетант не увидит политической подоплеки социологических сочинений Р. Арона или П. Бурдьё), но также обращают на прошлое обнаруженные в современном обществе закономерности.

Историка интересует не «общечеловек» тех или иных теорий, а конкретные лица, группы, общества. Одна из максим Ларошфуко звучит так: «легче познать людей вообще, чем одного человека в частности». Теории современных социальных наук принадлежат одному из

обществ, они созданы людьми, «ментальность» которых весьма отлична от круга представлений ничуть не менее разумных людей, живших несколько веков назад. Разумеется, человек является частью природы, которая, как заметил И. Кант, «вовсе не сделала его своим особым любимцем»; мы подчиняемся закону тяготения, обладаем такими-то группами крови, генами и органами пищеварения. Однако все данные нейрофизиологии или популяционной генетики ничего не говорят нам о мотивах того же Ларошфуко во времена интриг против Ришелье или во времена Фронды, в том числе и тому историку, который прочел все труды социобиологов и научился видеть в человеке вид плешивых и хищных обезьян. Объяснения агрессивного поведения напоминают рассуждения медиков у Мольера («усыпляет, ибо обладает усыпляющей силой»). Знание экономики и социологии полезно для историка, но и трудовая, и маржиналистская теория стоимости умалчивают о мотивах строительства пирамид (за исключением финансовых «пирамид» современности). Редкость такого блага как хорошая музыка или литература почти ничего не объяснит нам в творчестве Моцарта или Толстого. Много ли толку от всей нынешней political science, когда предметом исследования выступают королевства готы или борьба Мария и Суллы?

Историк может «брать в скобки» интенции и мнения людей других эпох, он может держаться «фактов, и только фактов», занимаясь археологическими раскопками, статистикой рождений или классификацией городских поселений. Но он неизбежно возвращается к вопросам, которые касаются мотивов и целей, «ментальности» людей прошлого. Однако это совсем не означает того, что историческое знание с неизбежностью опирается на эмпатию и пользуется методами романтической герменевтики. Противопоставление «вчувствования» естественно-научному объяснению совершенно ложно представляет не столько науки о природе, сколько саму историю. Автобиография и биография не являются «базисом» для историографии, как это представлялось Дильтею.

Историческое познание «сценично», его результаты не раз характеризовались как «театр истории». Французские историки часто пользуются словом «интрига», имея в виду взаимодействие множества актеров, происходящее спонтанно, не по написанному ранее сценарию. Одна констелляция сменяется другой, иногда в этих переменах обнаруживаются повторения. Н. Элиас придумал для выражения этого термин «фигурация»: подобно тому, как мелодия состоит из звуков,

книга из слов, танец — из фигур, так и общество не просто состоит из индивидов, но есть «общество индивидов». Все они социальны со дня рождения, их мысли и чувства, установки принадлежат конкретному обществу с его структурами и образцами, которым отвечает (или не отвечает) поведение и мышление индивидов. В отличие от наших предков, мы не считаем рабство или человеческие жертвоприношения чем-то нормальным и повседневным не потому, что мы лучше — мы просто принадлежим иному миру с другими конвенциями.

Индивид для историка никогда не выступает сам по себе, его интересуют не таинственные «глубины психики», но взаимодействие с другими «актерами». «Игра» не есть нечто независимое от ее участников, она не является и абстракцией от «игроков», поскольку сама она ничуть не более абстрактна, чем в нее играющие. Но и игроки не выступают как некие неизменные сущности — они формируются игрой, приучаются следовать определенным правилам (или тайком их нарушать). Привычки, обычаи, традиции — вот источник правил тех игр, которые вслед за Витгенштейном можно было бы назвать «формами жизни». Сама историческая наука является одной из таких «форм жизни».

Она возникла не из «чистого созерцания» — если математика, физика, биология, психология появились в пределах философии, то Геродот и Фукидид создавали историю, практически не ссылаясь на «любомудрие», но опираясь на опытные данные. Хороший рассказчик и ныне может пренебречь всеми наставлениями министерских учебников и следовать собственной интуиции; историк слишком часто обнаруживает несводимость индивидов, верований, городов и культур к утверждениям экономической или социологической доктрины. Этот эмпиризм обусловлен прежде всего многообразием опыта, поскольку сам предмет наблюдений — человек — редко вмещается в удобные математические формулы. Область измеряемого, квантифицируемого, а потому излагаемого на формализованном языке, в человеческом мире сравнительно невелика.

Вслед за Аристотелем и его античными последователями Вильгельм фон Гумбольдт относил «причины истории» к трем категориям: природе вещей, человеческой свободе и случаю. Если сравнить различные спекулятивные построения античности, то ни мир идей Платона, ни атомизм Демокрита не годятся (по крайней мере, непосредственно) для описания того мира, с которым имеет дело историк. Можно согласиться с Полем Вейном, который писал:

«История расположена в том мире, лучшим описанием которого по-прежнему является аристотелизм: это — конкретный реальный мир, населенный вещами, животными и людьми, где люди чего-то хотят и что-то делают, но делают далеко не все, чего хотят...»³⁴.

Историк применяет законы (суждения с квантором всеобщности) к конкретному случаю, общее и индивидуальное встречаются в особенном, которое не сводится к общему без остатка.

Разумеется, речь идет не о неповторимой индивидуальности явлений — если бы реальность состояла из такого рода монад, то невозможно было бы не только научное исследование, но и повествование. «Науки о духе» постигают конкретное явление на базе общих знаний, имеющегося опыта, но здесь интерес представляет само индивидуальное, не сводимое к общему закону. Генетическое толкование, «реконструкция» каждого явления в контексте истории жизни сближает психоанализ с герменевтикой. Карло Гинзбург назвал такой подход «уликовой парадигмой», которая характерна и для исторического познания — историк также идет по следам и ищет приметы. Того же мнения держится и Клиффорд Гирц: науки о культуре сравнимы с психоанализом и в том смысле, что они не дают предсказаний в строгом смысле слова, но «ставят диагноз»; они не утверждают, что «болезнь» появится неизбежно, но если уж она присутствует, то они могут предсказать ее течение³⁵.

Прямого пути «вчувствования» к людям прошлого не существует, поскольку эмпатия редко нам помогает даже в понимании современников. Мы любим читать исторические романы, но в большинстве своем они дают искаженные представления о прошлом. Не только потому, что к действительно существовавшим лицам добавляются вымышленные персонажи, но и потому, что мы должны слиться при чтении с героем, посмотреть на другую эпоху «его глазами» — наш современник оказывается обитателем иной реальности, он мыслит и чувствует так, как это делают люди нашей эпохи. То же самое происходит в научной фантастике, переносящей нас на столетия вперед — в далеком будущем начинают жить и действовать лица с ментальностью американцев или русских, получавших среднее образование во второй половине XX столетия.

³⁴ Veyn P. Comment on écrit l'histoire. Paris, 1978. P. 147.

³⁵ Geertz C. Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt a. M., 1994. S. 37.

К сожалению, немалое количество «новаций» в исторической науке последнего времени порождено соперничеством историков с литераторами. Желание «оживить» прошлое, приблизить к нам далеких или близких предков, показать, что ими владели те же страсти, чаще всего свидетельствует просто о профессиональной несостоятельности, отсутствии элементарных навыков научной работы³⁶. Тексты представителей историцизма начала XX в. вновь стали читать — это неплохо уже потому, что Коллингвуд, Кроче или Мейнеке были незаурядными мыслителями и великолепными историками. По неведомой причине им приписывается мнение, будто историцисты стремились к «повторению» прошлого в сознании историка³⁷. Пока речь идет об истории философии или истории науки, подобное стремление неизбежно: при реконструкции системы Галилея, Спинозы или Гегеля я должен максимально точно воспроизвести акт мышления, а не всю совокупность переживаний по самым разным поводам — они могли быть совсем иными, чем у современного человека. Приписывающие историцистам «стремление к повторению» лица просто не понимают того, что весь историцизм был буквально пронизан мыслью об инаковости прошлого. Оно уже никогда не вернется, ибо все «индивидуальные тотальности» смертны. Собственно говоря, релятивизм этих мыслителей был связан именно с представлением об истории как гераклитовском потоке, в котором нет и не может быть точки зрения *sub specie aeternitatis*. Отсюда и повторяющийся трагический мотив: движимые своими слепыми страстями люди ведут борьбу за какие-то идеалы, которые уже через столетие кажутся пустяками для потомков. Принадлежащие к «постмодерну» авторы заменили трагический мотив на комический, чтобы свободно иронизировать по поводу прошлого. Их привлекает только релятивизм, возможность поиграть с культурами настоящего и прошлого исходя из того, что все культуры равноценны и все они обладают собственным набором «ценностей», ни одна из них не хуже и не лучше другой. В результате появляется необозримое множество «культур», включая «культуру наркотиков» и «культуру банд в

³⁶ Но даже если мы возьмем не сочинения дилетантов и пишущих «на злобу дня», а труды профессиональных историков, анахронизм является неизбежным следствием «презентизма». См. по этому поводу: Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: в поисках утраченного. М., 1997. С. 665—667.

³⁷ «На самом деле, сторонники историцизма призывали историков воссоздать историческое воображение. Их целью стало стремление воспроизвести мир в памяти так, как он когда-то воспринимался» (Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003. С. 27).

пригородах Чикаго» (наилучший способ сделать и отсутствие культуры «культурным феноменом»). К трудам Коллингвуда, Ортеги или Трельча все это не имеет ни малейшего отношения. «Презентизм» мыслителей начала века был плодотворен как оппозиция «антикваризму», узкому позитивизму и натурализму конца XIX в., историографии «ножниц и клея». Вслед за неокантианцами и М. Вебером они указывали на сложность исторического познания, на необходимость философской рефлексии, на неизбежные лакуны и т.п. Но сами они были учеными и оставили серьезные исследования, тогда как нынешний «презентизм» заявляет о себе исключительно в «метаистории» и в эссеистике — на фундаменте доведенного до крайности скептицизма невозможна никакая научная работа³⁸.

Та разновидность скептицизма, которую Гуссерль назвал «наглым релятивизмом», проповедуется некоторыми философами (скажем, Рорти), но ни одно научное сообщество не может ее принять по очевидной причине: тогда нужно просто упразднить естественные и гуманитарные науки за их полную бесполезность. Критики любителей сводить историю к «фикциям» часто ловят их на слове, указывая на некоторые факты, от которых эти скептики не могут отрешиться, не нанеся ущерба своей репутации. Действительно, уже вопрос: «Следует ли из ваших тезисов то, что газовых камер в Освенциме не было, как это утверждают “ревиционисты”, так ли уж страдали негры (прошу прощения, афроамериканцы) от рабства?» вызывает иной раз просто истеричные ответы тех, кто разрывается между своими ироничными играми и политкорректностью.

Но за всеми этими играми не всегда добросовестных людей стоит все же серьезная проблема, поставленная, разумеется, не пустопорожними болтунами, а такими мыслителями, как Ф. Ницше, М. Вебер, Г. Зиммель. Сам скептицизм является важной интеллектуальной традицией Запада. Мы видим мир в перспективе, заданной нашим обществом, интеллектуальным окружением, языком, нравами и т.п. обстоятельствами. Даже такой «абсолютист», как Гегель, считал скептицизм необходимым для науки «отношением мысли к объективности». Научное познание начинается с критического взгляда на действитель-

³⁸ Для различения позиций «классического историста» А.-И. Марру и начитавшихся Ницше и Фуко историков, первого даже пришлось назвать «оптимистичным релятивистом», поскольку он ограничивает, но не отрицает научное познание. См.: Bourdè G., Martin H. Les écoles historiques. Paris, 1983. P. 296—307.

ность, критическое отношение к прежде выдвигавшимся теориям движет науку вперед. Я не стану повторять аргументы против крайнего релятивизма, выдвигавшиеся со времен платоновского «Теэтета», указывающего на внутреннюю противоречивость этой позиции. В случае исторической науки критицизм не исчерпывается «критикой источников» — историк должен распространять эту критику и на существующие теории, и на собственные познавательные способности. Однако ныне существительное «критика» и прилагательное «критическая» применяются к тем теориям, которые осуществляют подгонку всего прошлого к нуждам сегодняшнего дня — чем «смелее» они это делают, тем они «оригинальнее» (и тем больше шансов у их создателя оказаться участником talk-show). Такое бывало и в прошлом³⁹, поражают лишь масштабы «промыывания мозгов» доверчивой публики.

Аргументы тех, кто утверждает, что у всех есть point of view, а потому anything goes, покоятся на двух ложных предпосылках. Во-первых, это перенятый Ницше гераклитовский поток становления с образом реки, в которую нельзя войти дважды. В начале статьи я уже указывал на то, что любой ученый, да и любой человек вообще, не в состоянии мыслить, не разрывая этот поток на относительно неподвижные состояния. Тот же Гераклит высказал и такой афоризм: «Изменяясь, покоится». Во-вторых, это доведенный до предела презентизм: все суждения о прошлом зависят от перспективы, от взгляда из настоящего, от того субъекта, который живет сейчас, подводит под свои ценности, соотносит со своими прожектками. Эта предпосылка тривиальна, поскольку не содержит в себе ничего, кроме тавтологии: «мои мысли суть мои мысли». Эта принадлежность тому или иному лицу (эпохе, языку, культуре) никак не сказывается на оценке истинности или ложности высказывания. Мы можем сравнивать историю Англии XVII столетия в изображении Д. Юма с трудом Тревельяна или любого другого историка, подобно тому, как мы сопоставляем гелиоцентрические концепции с геоцентрическими, идет ли речь об Аристархе Самосском, Копернике или сегодняшнем учебнике астрономии. Когда

³⁹ В «Философии истории» Гегель писал о «высшей критике» своего времени: «Другим способом находить в истории современность является тот способ, когда исторические факты заменяют субъективными выдумками, и притом такими выдумками, которые признаются тем более удачными, чем они смелее, т.е. чем ничтожнее те мелкие обстоятельства, на которых они основываются, и чем более они противоречат важнейшим фактам истории» (Гегель Г.В.Ф. Философия истории. СПб., 2000. С. 62).

сторонники презентизма начинают изображать из себя медиумов «живой памяти» или даже целителей, возвращающих «вытесненное» (цензурой правящих слоев или официальных историков), они ведут хорошо все знакомую политическую игру: апелляция к массам поверх голов профессионального сообщества может принести известность в СМИ, гранты от заинтересованных организаций, да еще реноме «борцов» с якобы догматичной и бесчувственной наукой. Чаще всего реальные проблемы науки (скажем, соотношение «устной истории» с традиционной историографией) этих «борцов» вообще не интересуют. Исследовать недавнее прошлое, включая Холокост и ГУЛАГ, конечно, нужно; использовать при этом свидетельства пострадавших необходимо (включая, например, и собранные Солженицыным в «Архипелаге ГУЛАГе»), но работа ученого ведется в тиши архива или за письменным столом, тогда как указанные «борцы» предпочитают talk-show.

Историк имеет дело с ушедшим из нашего мира, он обращается к тем людям, которых уже нет, не с целью привлечь их на свою сторону в дебатах сегодняшнего дня. Тот, кто этим занимается, может быть и честным, и бесчестным политиком или публицистом, может хорошо знать историю (как Черчилль) или быть круглым невеждой (как Рейган, путавший Боливию с Бразилией). Подозреваю, что не только политики, но и обслуживающие идеологические кампании публицисты, пишущие «черные книги» или в очередной раз подсчитывающие число жертв политических режимов XX столетия, не блещут историческими познаниями. Познают и знают именно историки. Как и любые иные научные знания, их труды могут использоваться другими — во зло или во благо, арабами или евреями, сербами или хорватами.

На Западе интеллектуальные моды сменяют друг друга практически без всякого влияния на научное сообщество. Теоретизирования тех, кто стал писать слова «Текст» и «Тело» с заглавной буквы, там очень быстро уступят место другим не менее вздорным доктринам. Конечно, эпигоны «постмодерна» какое-то время будут морочить головы иным историкам — либо падким на модные слова, либо не обремененным знаниями, либо пользующимся политической конъюнктурой для рекламы своих книг в СМИ. Но западное научное сообщество все же застраховано от всей этой болтовни. Хотя на Западе имеются и негласная цензура, и всевластие общественного мнения, историк там чаще всего может просто игнорировать то, что он относит либо к биологии («Тело»), либо к художественному вымыслу («Текст»), поскольку сам предмет его исследований лежит за пределами этих дисциплин.

Мы существуем в совершенно иной ситуации: прежняя идеологизированная наука рухнула и заслуженно презирается теми, кто на себе испытал «прелести» цензуры, редакторского произвола или, скажем, обязательного следования даже не духу марксизма, а его букве (например, преданности пресловутой «пятичленке»); но того, что можно назвать «нормальной наукой», у нас пока нет. В этих условиях перенятие модных доктрин, преподносимых как «последнее слово западной науки», оказывается просто опасным: мы уже потеряли целое поколение ученых (одни уехали за границу, другие ушли в бизнес), и рискуем потерять еще одно, обучившееся только цитировать не лучшие произведения Фуко или Рорти.

Увлечение историков «презентизмом» понятно и без всяких философских мод: массовое общество создает своих кумиров, оно буквально требует популяризаций в газетах и журналах, в телепрограммах, в Интернет-изданиях. Появился огромный слой полуобразованных людей, получивших общее среднее или высшее образование, сделавшихся инженерами, врачами, маклерами, химиками и т.д. Эти люди проявляют интерес к истории и готовы тратить деньги на ярко написанные книжки. Спрос рождает предложение, а у далекого от исторической науки и совсем неглупого «человека с улицы» взгляд на историю неизбежно «практический», подводящий прошлое к настоящему — этот взгляд вообще характерен для «ставшего всем» третьего сословия.

К тому же в западных обществах чрезвычайно велико число неудач-гуманитариев. В Европе с ее все расширяющимся полным средним и бесплатным высшим образованием на факультеты истории, философии, права записывается огромное число людей, которые отсеиваются за первый-второй курсы. Можно посочувствовать и тем, кому учиться мешала бедность, и тем, кто просто не в состоянии одолевать университетский курс. Но у изрядного числа этих молодых людей наряду с азами познаний первого курса присутствует и *ressentiment* неудачников: они оказались за бортом не в силу собственной неподготовленности или малого старания, а из-за «догматизма», «жестокости» и т.п. качеств проклятых «мандаринов», обитающих в своих «замках из слоновой кости» и не видящих того, что их социология, философия, история не соприкасаются с «жизнью». Таких людей за несколько десятилетий демократизации образования в городах Европы скопились уже миллионы — им очень легко сбыть книги и статьи «разоблачителей» и «ироников». Спрос на псевдонаучные и политизированные версии истории столь велик, что отклик на него со стороны не

только шарлатанов, но и немало числа ученых представляется неизбежным. К этому добавляется ряд факторов, перечисляемых Ф. Арто-гом: общество потребления быстро делает безнадежно устаревшими и вещи, и персоны; ценностью обладает исключительно эфемерное; массмедиа сжимают время и дают нам сочетания мелькающих картинок и клишированных фраз; презентизму способствует и туризм — весь мир у нас под рукой, все обозримо; ключевой персонаж телепередач «с места событий» — очевидец, свидетель — сделался образцом для историков и т.д.⁴⁰ Именно поэтому презентизм приобрел такое влияние, что иные члены профессионального сообщества, причем далеко не худшие ученые, начинают сочинять теории вроде «исторической памяти». Историк приходится сегодня вспоминать слова Фукидида о том, что большинство людей не затрудняет себя разысканием истины, но «склонно усваивать готовые взгляды» — с той оговоркой, что ныне существует целая индустрия по производству «готовых взглядов».

Еще раз повторю ту мысль, которая уже не раз в том или ином виде звучала выше: историк занят не выведением настоящего из прошлого, не оживлением людей прошлого («некромантией»), не изобретением прошлого в свете прогрессивных устремлений. Он интересуется исключительно прошлым *wie es eigentlich gewesen*. Кого-то история может научить лучше действовать в настоящем и не повторять ошибок и преступлений, кого-то она научить не способна, но она вообще занята не этим. Даже незнакомый с феноменологией Гуссерля историк умеет «брать в скобки» все сегодняшние дебаты и проблемы, теории и предвзятые мнения толпы, чтобы понять, как жили, чувствовали, умирали люди иных времен. Такой историк может иметь ясно выраженные политические позиции, предпочитать одну философскую или религиозную доктрину другой, но это не должно сказываться на его интерпретации прошлого. Как он использует свои знания сам, кто их использует за него при решении самых разных практических задач — это не вопрос исторического познания как такового (хотя историка вполне может заинтересовать то, как польские и московские монархи XVII в. оправдывали свои притязания фантастическими генеалогиями). Если воспользоваться терминологией П. Бурдьё, научная история образует относительно «автономное поле» знания, которое соотносится с «полем власти», но к нему никак не редуцируется. Прошлое историка представляет собой результат многообразных операций познающего субъек-

⁴⁰ Hartog F. *Regimes d'historicite. Presentisme et experiences du temps*. Paris, 2003. P. 125—127.

та, оно далеко отходит и от непосредственного переживания длительности, от живой действительности памяти и устного предания. Презентизм стремится «вернуть жизнь» в исторические тексты, но на деле он способствует новому мифотворчеству⁴¹ — только на место религии приходит идеология.

Историк вполне может проследить и влияние прошлого на институты, обычаи, нравы настоящего, но и это он делает, отрешившись от «шума и ярости» сегодняшних споров. Настоящее тогда превращается в прошлое, в один из тех синхронных срезов (состояний), которые он привык сопоставлять в иных эпохах. На морализаторское негодование желающих «служения прогрессу» или «воспитания патриотизма» он вынужден обращать внимание только потому, что они отвлекают его от научной работы. Завершив эту работу, он сам может поучаствовать в полезных для его отечества, класса или угнетенного меньшинства делах. Шарль Пеги был пламенным патриотом Франции, однако ему принадлежат слова: «Гомер не устарел и сегодня, но нет ничего более устаревшего, чем сегодняшняя газета».

Упреки в том, что научные изыскания тогда не имеют никакой ценности и не стоят того, чтобы их финансировали налогоплательщики, отчасти справедливы, поскольку от археологических раскопок Херсонеса или Чатал-Гююка, от интерпретации того или иного клинописного текста нет никакой пользы ни налогоплательщикам, ни политикам. Но в таком случае следовало бы считать напрасным и финансирование экологов, изучающих брачное поведение несъедобных пернатых, или астрофизиков, исследующих свет от звезд, которые уже могли исчезнуть, пока этот свет до нас дошел. Эти вполне законные аргументы налогоплательщика, впрочем, следовало бы для начала обратиться к огромному числу чиновников, генералов, политических шоуменов и т.п. публике, но с ними должен считаться и ученый. Отличие истории от естественных наук связано с тем, что мы сами, в отличие от птиц и звезд, сформированы историей, наша идентичность как «русских» или «поляков», «свободных граждан» или «подданных государства», «интеллектуалов» или «интеллигентов» укоренена в истории. Поэтому труды историков неизбежно используются в идеологических дебатах, в них участвуют и сами историки. Но два эти ремесла не следует смешивать друг с другом (хотя «тьма любителей» подобных коктейлей все возрастает).

⁴¹ «Миф — это обосновывающая история, историю, которую рассказывают, чтобы объяснить настоящее из его происхождения» (Ассман Я. *Культурная память*. М., 2004. С. 55).

Препринты ИГИТИ ГУ ВШЭ

Серия WP6

«Гуманитарные исследования ИГИТИ»

Отличие ученых от шумных «борцов за память», вероятно, определяется тем, что у первых с идентичностью нет проблем, и они могут спокойно заниматься людьми прошлого с иной идентичностью, сравнивать, ценить и свое, и давно ушедшее; испытывающий «кризис идентичности» маргинал либо выдает собственную пустоту за удел человеческий, либо вменяет в вину людям прошлого свою маргинальность, либо, чтобы заполнить эту пустоту, впадает в мегаломанию, делая из себя вершину исторического развития, к коей стремилось все человечество начиная с палеолита. Как и всякий ученый, историк остается весьма несовершенным и слабым существом, живет не в лучшем из миров и должен считаться с окружающим миром, включая зависимое от политиков начальство, но ему нет нужды в том, чтобы восхвалять, исказить или хулить прошлое. Одного мыслителя древности изображали плачущим над глупостью людской, другого смеющимся над нею. Нам всем это свойственно (как, впрочем, и сама глупость), но пока мы заняты научным поиском, задача и очень сложна и очень проста: «не плакать, не смеяться, но понимать».

1. **Савельева И.М., Полегаев А.В.** Функции истории. Препринт WP6/2003/01. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
2. **Дубин Б.В.** Семантика, риторика и социальные функции «прошлого»: к социологии советского и постсоветского исторического романа. Препринт WP6/2003/02. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
3. **Руткевич А.М.** Психоаналитическое учение о символе и интерпретации. Препринт WP6/2003/03. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
4. **Андреев М.Л.** Второе рождение нормативной поэтики. Препринт WP6/2003/04. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
5. **Самутина Н.В.** Современное европейское кино и идея культуры («прошлого»). Препринт WP6/2003/05. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
6. **Савельева И.М., Полегаев А.В.** История и интуиция: наследие романтиков. Препринт WP6/2003/06. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
7. **Репина Л.П.** Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). Препринт WP6/2003/07. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
8. **Никс Н.Н.** «Велик и благороден труд профессора» (Жизнь и деятельность московской профессуры второй половины XIX — начала XX вв.). Препринт WP6/2004/01. М.: ГУ ВШЭ, 2004.
9. **Юревич А.В.** Социогуманитарная наука в современной России: адаптация к социальному контексту. Препринт WP6/2004/02. М.: ГУ ВШЭ, 2004.
10. **Андреев М.Л.** Формы прошлого в классической европейской литературе. Препринт WP6/2004/03. М.: ГУ ВШЭ, 2004.
11. **Фрумкина Р.М.** Психоллингвистика: что мы делаем, когда говорим и думаем. Препринт WP6/2004/04. М.: ГУ ВШЭ, 2004.
12. **Филиппов А.Ф.** Конструирование прошлого в процессе коммуникации: теоретическая логика социологического подхода. Препринт WP6/2004/05. М.: ГУ ВШЭ, 2004.

Содержание

13. Руткевич А.М. Психоанализ и доктрина «исторической памяти». Препринт WP6/2004/06. М.: ГУ ВШЭ, 2004.

14. Савельева И.М., Полетаев А.В. Социальные представления о прошлом: типы и механизмы формирования. Препринт WP6/2004/07. М.: ГУ ВШЭ, 2004.

15. Савельева И.М., Полетаев А.В. Социальные представления о прошлом: источники и репрезентации. Препринт WP6/2005/01. М.: ГУ ВШЭ, 2005.

16. Капелюшников Р.И. Деконструируя Поланьи (заметки на полях «Великой трансформации»). Препринт WP6/2005/02. М.: ГУ ВШЭ, 2005.

17. Ерусалимский К.Ю. История на посольской службе: дипломатия и память в России XVI в. Препринт WP6/2005/03. М.: ГУ ВШЭ, 2005.

18. Савельева И.М., Полетаев А.В. История и социальные науки. Препринт WP6/2005/04. М.: ГУ ВШЭ, 2005.

19. Зарецкий Ю.П. История европейского индивида: от Мишле и Буркхардта до Фуко и Гринблатта. Препринт WP6/2005/05. М.: ГУ ВШЭ, 2005.

20. Фрумкина Р.М. Культурно-историческая психология Выготского — Лурия. Препринт WP6/2006/01. М.: ГУ ВШЭ, 2006.

21. Полетаев А.В. Валовой внутренний продукт Российской Федерации в сопоставлении с Соединенными Штатами, 1960—2004 гг. Препринт WP6/2006/02. М.: ГУ ВШЭ, 2006.

Знание и повествование	5
Факты и фикции	12
Настоящее и прошлое	24
Презентизм	39
Препринты ИГИТИ ГУ ВШЭ	51

Препринт WP6/2006/03
Серия WP6
Гуманитарные исследования ИГИТИ

Редактор серии *И.М. Савельева*

А.М. Руткевич

Прошлое историка

Публикуется в авторской редакции

Зав. редакцией *А.В. Заиченко*

Корректор *Е.Е. Андреева*

Технический редактор *Н.Е. Пузанова*

ЛР № 020832 от 15 октября 1993 г. продлена до 14 октября 2003 г.

Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Печать трафаретная.

Тираж 150 экз. Уч.-изд. л. 3,8. Усл. печ. л. 3,26. Заказ № . Изд. № 618

ГУ ВШЭ. 125319, Москва, Кочновский проезд, 3

Тел.: (495) 134-16-41; 134-08-77

Факс: (495) 134-08-31

Типография ГУ ВШЭ. 125319, Москва, Кочновский проезд, 3

Для заметок
